Как-то лошадь входит в бар

Автор:
Давид Гроссман

Как-то лошадь входит в бар

Давид Гроссман

Целая жизнь – длиной в один стэндап.

Довале – комик, чья слава уже давно позади. В своем выступлении он лавирует между безудержным весельем и нервным срывом. Заигрывая с публикой, он создает сценические мемуары. Постепенно из-за фасада шуток проступает трагическое прошлое: ужасы детства, жестокость отца, военная служба. Юмор становится единственным способом, чтобы преодолеть прошлое.

Давид Гроссман

Как-то лошадь входит в бар

«Как-то лошадь входит в бар». Почему?

Предисловие переводчика

В феврале 2018 года, в год празднования 70-летия со дня провозглашения независимости Государства Израиль, Давид Гроссман был удостоен Премии Израиля в области литературы и поэзии – высшей награды страны. Как свидетельствует комиссия по присуждению премий, «голос Давида Гроссмана – один из самых глубоких, трогательных голосов израильской литературы,

оказывающий существенное влияние на нашу жизнь».

Но, вспоминая свои первые годы в Иерусалиме, могу сказать, что на меня лично, на мое становление как израильтянина, относительно недавно прибывшего из СССР, оказал влияние реальный голос Давида Гроссмана: я старался не пропускать утренние передачи главного канала израильского радиовещания, в которых принимал участие неизвестный мне тогда человек, и его особый голос с великолепной дикцией и незабываемым тембром запомнился на всю жизнь. Гроссман работал на радио и корреспондентом, и актером, и автором сценариев радиопостановок. Он был одним из ведущих популярной передачи «Кот в мешке», около четырех лет редактировал и вел передачу «Добрый вечер, Иерусалим», которая замечательно рассказывала о Городе…

Свою карьеру на радио, которая длилась четверть века, Гроссман начал в возрасте… девяти лет, в 1963 году, посылая свои корреспонденции в студию молодежного вещания. После завершения воинской службы (1972–1975) в подразделении 8200 (в Израиле это прославленное подразделение, относящееся к отделу разведки Армии обороны Израиля, известно под названием «Восемь двести») Давид работает диктором, выступает актером в радиопьесах, становится автором серии радиопередач, из которых и родилась его первая книга «Дуэль» (1982). И хотя перспективный радиожурналист и диктор Давид Гроссман за свои творческие достижения удостаивается нескольких премий, в 1988 году его уволили из Государственного управления теле- и радиовещания за публичный протест против тех ограничений свободы слова, которые власти наложили на сотрудников и корреспондентов израильского радио. Правда, суд отменил решение об увольнении Гроссмана за резкую критику политики правительства в отношении арабского населения Иудеи и Самарии, но Давид на радио не вернулся.

Он стал писателем. Нет-нет, он не заперся в башне из слоновой кости, продолжал публиковаться в периодической печати, принял участие в общественной деятельности радикального крыла израильских левых, связанной с защитой прав арабов в Государстве Израиль (Гроссман описал ее в том числе в книге «Присутствующие отсутствующие», 1992). Со времени выхода его первой книги (1982 год, хотя первый рассказ «Ослы» увидел свет еще в 1979 году) и до сегодняшнего дня (осень 2018 года) Д. Гроссман интенсивно работает. Он опубликовал семь крупных романов, два сборника рассказов, две повести, три книги публицистики и эссеистики, две его пьесы шли в лучших театрах Израиля, по его книгам поставлены четыре фильма. Он создал серию детских книг о

мальчике Итамаре (6 книг), а также книги об Ури, Рути и Рахели (всего 12 книг).

Писатель понимает душу подростка, его фантазии, его восприятие реальности. Повести Гроссмана для юношества пользуются огромным успехом, потому что он умеет говорить с подростками не с высоты своего возраста, а находит простые, из сердца идущие слова о насущных проблемах, которые так волнуют юношей и девушек в период взросления, физического и духовного развития: любовь, сострадание, человечность, личностная самооценка, трагичность бытия, мысли о смерти. Его юные герои задумываются о Холокосте (в Израиле принято говорить «Шоа» – «несчастье», «бедствие», а также «Хурбан» – «разрушение»; в израильской русскоязычной печати употребляется также слово «Катастрофа»).

Тема Шоа возникла в книгах Гроссмана далеко не случайно. Давид родился в Иерусалиме в 1954 году. Его отец, уроженец польского местечка Динов, сумел в 1936 году добраться до Эрец-Исраэль[1 - Эрец-Исраэль (Земля Израиля, Страна Израиля) – принятое в еврейской традиции, литературе и в быту название Эрец-Исраэль приводится впервые в Библии, в книге Первая Самуила,13:19 (в русской традиции – Первая Царств), в повествовании о войнах царя Саула (примерно 1030 г. до н. э.). – Здесь и далее примечания переводчика.], где встретил мать писателя. Почти все родные и близкие отца погибли в годы Катастрофы – отсюда тема Холокоста в книгах Давида: историю девятилетнего Момика (Шломо), который пытается узнать, что пережил его дед, Аншел Вассерман, в те страшные годы, рассказывает роман «См. статью «любовь» (1986). Четыре части этого полифонического произведения представляют, по сути, четыре повести, связанные друг с другом. «Я написал этот роман, – говорит сам Д. Гроссман, – чтобы понять себя как еврея. Надо ответить на два вопроса: что бы я мог сделать в том месте и в то время и каким образом нормальный человек становится частью этой машины убийства»…

О романе «Книга внутренней грамматики» (1991) и о его герое, десятилетнем Ахароне Кляйнфельде, мальчике, задумывающемся над сложным, не всегда понятным, с его точки зрения, лживым миром взрослых, Гроссман пишет: «Грамматика – это в смысле быть предельно точным с самим собой. Ахарон не делает самому себе никаких уступок. Он абсолютно точен и честен с самим собой, не давая себе спуску. Я написал целую книгу, чтобы понять, что есть эта внутренняя грамматика одного мальчика по имени Ахарон».

Грамматика у Гроссмана связана с точностью, честностью – в четком соответствии с богатым семантическим полем слова «грамматика» («дикду?к»

на иврите), что означает «тщательность», «точность», «тонкость», «выполнение своей задачи достойно, во всех деталях». А если обратиться к употребляемому Гроссманом глаголу, образованному от слова «дикду?к» – «медакде?к», то его значение не только «заниматься грамматикой», «занимающийся грамматикой», но и «уточнять», «строго соблюдать». Кстати, великий еврейский поэт, лексикограф, гуманист XVI века Элия Левита носил прозвище «Медакдек» – «Грамматик».

Для писателя «грамматика» – это прежде всего язык. Язык Гроссмана емок, глубок, необычен, иногда трудно переводим, богат разными языковыми пластами. Скажем, в книге «См. статью «любовь» писатель использовал лексику языка идиш, и даже те внимательные, чуткие читатели, не выросшие в доме, где бабушка говорила с родителями на идише, как это было в доме Д. Гроссмана, уловят и мелодию, и мягкость, и иронию, и юмор, и самоиронию языка Шолом-Алейхема, которого Гроссман читал на иврите и герои которого – Тевье-молочник, мальчик Мотл, Менахем-Мендл, Эстер-Либа, мальчик Шимек – стали его товарищами на всю жизнь.

Однако есть еще один аспект авторского письма Д. Гроссмана, который особо проявился в его последней книге «Как-то лошадь входит в бар» (2014).

Роман повествует об одном представлении комика Дова Гринштейна, главного героя книги, выступающего в жанре стендап под сценическим именем Довале Джи. Увы, герой не принадлежит к когорте самых преуспевающих стендаперов; он является своего рода взрослым воплощением прежних гроссмановских персонажей-подростков – Аарона из «Книги внутренней грамматики» или Момика из «См. статью «любовь». Они вдруг выросли и превратились в худощавого мужчину пятидесяти семи лет, низкорослого и в очках. Эту метаморфозу «в обратной перспективе» сам Гроссман описал одной фразой: «Пятидесятисемилетний мальчик выглядывает из четырнадцатилетнего старика».

В интервью журналистке Изабель Кумар на англоязычном канале «Евроньюс» (2016) Гроссман говорит о своем герое: «Он человек чувствительный, хрупкий, необычайно творческий, жизнь его резко изменилась, когда ему было четырнадцать лет. Я написал, по сути, историю подростка, который потом стал актером-стендапером, и фабула книги – его выступление в ночном клубе в городе Нетания».

Об этом выступлении, его перипетиях рассказывает судья в отставке Авишай Лазар. Довале дружил с ним в далекие школьные годы, а теперь, спустя много лет, судья приглашен в Нетанию по просьбе Довале и должен вынести вердикт по поводу того, каким получилось представление.

Не станем передавать все подробности этого вечера, начавшегося с шуток и анекдотов и завершившегося трагическим рассказом Довале Джи об эпизоде из юности, перевернувшем всю жизнь. И отставной судья Авишай Лазар понял глубину замысла Довале, пригласившего его на выступление: ведь судья, сам того не ведая, был связан с тем судьбоносным событием в юности Довале, о котором тот рассказывал зрителям.

«Как-то лошадь входит в бар» – настоящий израильский роман, подлинно гроссмановский, в котором запечатлены различные аспекты и нюансы нашей жизни, увлекательной, многогранной, где веселье и юмор порою таят глубокую трагедию, – как и присуще еврейскому (и не только!) юмору испокон веков. Но есть еще одна особенность этого романа: герой, ведя разговор с публикой, широко пользуется израильским сленгом.

Израильский сленг – удивительное явление в израильской культуре, в устной и письменной речи, в израильском бытии и быте.

Определенный пласт сленга в свое время возникает под влиянием выходцев из России и Восточной Европы, говоривших на идише, на русском и на других славянских языках. Например, «саматоха»; это слово из русского пришло в идиш и вошло в иврит в произношении, заимствованном из идиша, с тем же значением: «суматоха». А слово «чемодан» пришло в русский из персидского и татарского, но в иврите так называют «большой чемодан».

Роль армии, ее солдат и офицеров, выходцев из многочисленных еврейских этнических общин в создании, обновлении и совершенствовании израильского сленга трудно переоценить! Армия – один из главных источников сочного, вечно живого, остроумного и неповторимого сленга. Свидетельствую лично: более десяти лет своей израильской жизни я ежегодно призывался в Армию обороны Израиля на резервную службу и за это время сумел познакомиться, немного постичь, а затем и полюбить ивритский сленг. Судьба подарила мне в Израиле еще один подарок – несколько напряженных лет я провел в стенах Еврейского университета в Иерусалиме, где кроме прочих премудростей мне посчастливилось наслаждаться сленгом своих однокашников, студентов и

аспирантов, людей образованных, хорошо подкованных также и в тонкостях сленга. На всю жизнь запомнил я свое первое слово израильского сленга, усвоенное еще на первом году жизни в Иерусалиме и поразившее меня своей образностью, музыкой, динамикой: «чакала?ка». Так называется мощная мигалка поперек всей крыши автомобиля полиции. Помню и второе слово: когда на занятие, которое я проводил в лаборатории электроники (на втором году моей израильской жизни), не явился один из учащихся, то его товарищ объяснил мне: «Он тебе устроил бе?рез». «Бе?рез» – это на иврите «кран», смысл этого выражения – «смыться», «слинять» – очень точно связан с водой, текущей из крана. И я подумал, что языки наши – иврит и русский – очень близки: парень, устроивший «бе?рез», возможно, хотел сказать мне: «Кранты?»…

«Всякий, кто любит язык, не может не любить всей душой сленг».

Эти слова замечательной израильской писательницы Шуламит Харэвен (1930–2003), первой женщины, избранной (1979) в Академию языка иврит, я процитировал Давиду Гроссману, когда рассказал, что, переводя его роман, я попытался – буквально в нескольких словах в конце страницы – пояснить сленговые выражения, звучащие из уст героя.

Давид грустно вздохнул: «Шуламит была моим близким, сердечным другом, и мне ее очень недостает. Она права. Надеюсь, что твои усилия будут приняты русскими читателями».

Я рассказал Давиду, что мне тоже довелось общаться с Шуламит, в свое время я был тепло принят в ее доме и даже напечатал некоторые фрагменты из своих бесед с этой мудрой, глубокой женщиной. И еще сказал ему, что к русскому переводу романа я прилагаю алфавитный словарик сленговых выражений, которые встречаются в книге и приводятся в примечаниях в конце страницы. На всякий случай. Вдруг мой читатель забыл то, что я пояснил на предыдущих страницах, и словарик придет ему на помощь.

И в заключение – почему книга называется «Как-то лошадь входит в бар». В упомянутой уже беседе Давида Гроссмана с Изабель Кумар Давид отвечает на этот вопрос так: «Я с трудом запоминаю анекдоты, но в процессе работы над книгой я научился их помнить и сегодня держу в памяти около тридцати разных анекдотов. Расскажу анекдот, давший название книге, начало которого озвучил со сцены мой герой Довале, но до конца он так и не добрался:

«Как-то лошадь входит в бар, обращается к бармену, просит рюмку водки. Бармен замирает, смотрит на лошадь с изумлением, подает ей рюмку водки. Лошадь залпом выпивает, спрашивает: «Сколько стоит?» Бармен говорит: «Пятьдесят баксов». «О’кей», – отвечает лошадь, платит деньги и направляется к двери. Бармен бежит за ней следом: «Простите меня, миссис Лошадь, погодите! Это ведь так удивительно! Говорящая лошадь! Я никогда не видел ничего подобного!» Лошадь грустно смотрит на бармена и говорит ему: «С вашими ценами вы такого больше никогда и не увидите»…

Виктор Радуцкий[2 - Переводчик считает своим долгом выразить сердечную благодарность Анатолию Головахе, иерусалимскому математику-программисту, поэту и переводчику, который внимательно прочитал рукопись перевода перед отправкой в издательствои сделал ряд ценных замечаний и уточнений.]

Как-то лошадь входит в бар

– Добрый вечер, добрый вечер, дооо-брый вечер, Кейсари-я-а-а-а!!!

Сцена по-прежнему пуста. Из-за кулис раздается громкий крик. Сидящие в зале потихоньку затихают, улыбаясь в предвкушении. Худощавый, низкорослый и очкастый субъект вылетает на сцену из боковой двери, словно вытуренный оттуда пинком. Спотыкаясь, он делает еще несколько шагов по сцене, едва не падает, тормозит обеими руками о деревянный пол, а затем резким движением задирает кверху зад. По залу прокатывается смех, публика аплодирует. Люди все еще заходят из фойе, громко болтая.

– Дамы и господа, – объявляет, не разжимая губ, мужчина, сидящий за столом со световым пультом, – встречайте аплодисментами Довале Джи.

Человек на сцене по-прежнему пребывает в позе обезьяны, его большие очки криво сидят на носу. Он медленно оборачивается к залу и окидывает его долгим немигающим взглядом.

– О, – фыркает он, – не Кейсария, нет?

Раскаты смеха. Он медленно выпрямляется, отряхивает ладони от пыли.

– Похоже, мой агент опять меня поимел?

Слышатся выкрики из публики. Человек бросает ошеломленный взгляд в зал:

– Что такое? Что ты сказала? Ты, седьмой столик, да-да, ты, милочка, мабрук[3 - Мабрук – благословение по поводу радостного события или позитивного процесса (арабск.).], у тебя новые губки, тебе они очень к лицу!

Женщина хихикает и прикрывает рот ладонью.

Человек стоит на краю сцены, слегка раскачиваясь взад-вперед.

– Будь серьезной, моя прелесть, ты всамделе сказала «Нетания»?

Его глаза расширились, почти заполнив линзы очков:

– Дайте соображу: ты мне здесь говоришь, в здравом уме и с предельной наглостью, что я сейчас, ашкара[4 - А

шкара – прямо-таки (сленг, арабск.).], в Нетании, да еще и без бронежилета?[5 - Курортный город Нетанию нередко и не без оснований называют криминальной столицей Израиля.]

Скрестив ладони, он в ужасе прикрывает ими причинное место. Публика восторженно ревет. Тут и там раздается свист. Входят еще несколько пар, а за ними – шумная компания молодых мужчин, по-видимому, солдаты в увольнении. Маленький зал заполняется. Знакомые машут друг другу. Три официантки в шортах и фиолетово светящихся маечках с круглым вырезом выходят из кухни и снуют между столиками.

– Послушай-ка, Губки, – человек улыбается женщине за седьмым столиком, – я с тобой еще не закончил, давай поговорим об этом… Нет, потому что ты кажешься мне девушкой серьезной, с оригинальным вкусом, если я правильно понимаю твою занятную прическу, которую тебе сделал – дай угадаю – тот самый

дизайнер, сотворивший нам и мечети на Храмовой горе, и атомный реактор в Димоне?

Публика от души хохочет.

– И если я не ошибаюсь, здесь я чую еще и запах денег… Ямба[6 - Я

мба – много, в изобилии, в огромном количестве (сленг, «ям» – «море», ивр.).] денег… Я прав или я не прав? А? Сто пудов? Нет? Совсем нет? Я скажу тебе почему. Потому что я вижу здесь и великолепный ботокс, и совершенно бесконтрольное уменьшение груди. Поверь мне, я бы руки отрезал этому пластическому хирургу.

Женщина скрещивает руки, прикрывает лицо ладонями и взвизгивает сквозь пальцы, как от щекотки.

По ходу разговора он быстро расхаживает по сцене от края до края, потирая руки и пристально разглядывая публику в зале. Его ковбойские сапоги с высокими каблуками сопровождают все перемещения сухим постукиванием.

– Только объясни мне, лапочка, – громогласно вопрошает он, не глядя на женщину, – как такая интеллектуальная девушка не знает, что подобные вещи надо рассказывать человеку предельно осторожно, руководствуясь здравым смыслом, осмотрительно, обдуманно. Не обрушивать на него: «Ты в Нетании! Бум!» Что это с тобой? Человека следует подготовить, особенно если он такой тощий.

Быстрым движением он поднимает свою линялую трикотажную рубаху, и по залу пробегает невольный вздох.

– Что, не так ли? – Он обращает свое оголенное тело к тем, что сидят и справа, и слева от сцены, озаряя их при этом широкой улыбкой: – Видели? Кожа да кости. В основном хрящ, клянусь вам. Если бы я был лошадью, то уже превратился бы в клей.

В публике слышатся растерянные смешки и громкие неодобрительные выдохи.

– Пойми, душа моя, – он вновь обращается к столику номер семь, – и знай на будущее: подобное извещение преподносят человеку с осторожностью, и немного предварительной анестезии не повредит. Обезболивание, ра?бак![7 - Ра?бак – ко всем чертям! (сленг, арабск.)] В мочку уха осторожно вводят обезболивающее: «Поздравляю тебя, Довале, прекраснейший из мужчин, ты удостоился! Тебя избрали для участия в особом эксперименте. Ничего чрезмерно длительного, всего полтора часа, максимум – два, что является предельно допустимым временем, в течение которого нормальный человек может подвергаться опасности открытого общения с людьми, пришедшими сюда…»

Публика смеется, и человек на сцене удивлен:

– Чего вы смеетесь, а?хбалот?[8 - Ахбалот – мн. число от слова «а?хбаль» – «глупец» (арабск.).] Это про вас!

Публика заливается смехом, а он за свое:

– Минутку. Давайте разберемся: вам уже сообщили, что вы здесь на «разогреве» перед настоящей публикой?

Свист, бурный взрыв смеха. В отдельных местах зала раздается пронзительное, протяжное «Бу-у-у», слышатся удары ладонями по столам, но большинство воспринимают это как забаву. В зал входит еще одна пара, высокие, тоненькие, их пушистые, золотистые волосы ниспадают на лоб: юноша и девушка или, возможно, двое юношей, облаченных во все черное, отливающее блеском, с мотоциклетными шлемами под мышками. Человек на сцене взглянул на них, и тонкая морщинка пролегла у него над глазом. Он двигается по сцене непрерывно. Через каждые несколько минут, подкрепляя сказанное, он резко выбрасывает кулак в воздух, а затем обманным движением боксера ускользает от невидимого противника. Публика наслаждается, а он, прикрывая рукой глаза, рыщет взглядом по всему залу, который уже почти полностью погрузился в темноту.

Он ищет меня.

– Между нами, братья мои, сейчас я должен положить руку на сердце и сказать вам, что помираю, прямо по-ми-рра-аю по Нетании, верно?

– Верно! – кричат ему в ответ несколько молодых людей из публики.

– И до чего же замечательно в этот вечер четверга быть здесь с вами в вашей изумительной промышленной зоне, да еще в подвальном помещении, прямо над прекрасными залежами радона, извлекая для вас из собственной задницы шутки или остроты, одну за другой… Верно?

– Вер-но! – вопит в ответ ему во все горло публика.

– Неверно! – решительно заявляет человек на сцене, с удовольствием потирая руки. – Все это – «фарш»[9 - Фарш – «неполноценный», «испорченный», «низкого качества» (сленг, из языков уроженцев Марокко: «мусор», «отходы»).], кроме задницы, ибо скажу я вам правду: не выношу ваш город. Пугает меня до смерти эта Нетания: каждый второй человек на улице выглядит участником программы защиты свидетелей, а каждый третий встречный прячет в багажнике своего автомобиля первого встречного, завернутого в черный пластиковый пакет. И поверьте мне, если бы я не должен был выплачивать алименты трем прелестным женщинам да еще поддерживать один, два, три, четыре, пять – пятерых детей, хамса[10 - Хамса – украшение в виде ладони с пятью пальцами, амулет для защиты от сглаза, «на счастье». Обычай евреев – уроженцев Северной Африки. «Хамса» – «пять», арабск. Ныне широко распространена в Израиле.]… – он швыряет публике в лицо ладонь с растопыренными пальцами, – клянусь, стоя перед вами, что я первый в истории мужчина, страдавший от послеродовой депрессии. Пять раз испытал я послеродовую депрессию. Собственно говоря, только четыре, поскольку однажды родились близнецы. В сущности – пять, если считать и депрессию после моих собственных родов. И тем не менее из всего этого балагана вышло нечто хорошее и для вас, и для Нетании, самого волнующего из городов, и если бы не мои вампиры с молочными зубами, то нынешним вечером я ни в коем случае не оказался бы здесь ради семисот пятидесяти шекелей, которые Иоав платит мне наличными, без квитанции, без единого доброго слова. Итак, ялла[11 - Ялла – «ну же!», «давай!», возглас понукания, очень распространен в Израиле. Из арабск.: «Хой, Алла» – «О Боже».], братцы мои, сладчайшие мои, давайте в этот вечер попразднуем, снесем крышу! Бурные аплодисменты Королеве Нетании!

Зрители аплодируют, несколько сбитые с толку неожиданным поворотом, но увлеченные ревом, идущим от сердца, милой улыбкой, вдруг озаряющей его лицо, которое полностью меняется. И – словно срабатывает вспышка фотоаппарата – исчезает скептическое выражение и появляется лицо

интеллектуала, приветливое, приятное и деликатное, почти нежное лицо человека, у которого нет и не может быть никакой связи с тем, что исторгают его уста.

Он явно наслаждается путаницей, которую сам и создает.

Словно изображая циркуль, он медленно вращается на одной ноге вокруг своей оси, и по завершении полного оборота на его искаженном лице вновь появляется выражение горечи:

– У меня потрясающая новость, Нетания! Вы не поверите, какая удача свалилась на вас, но как раз на сегодня, именно на двадцатое августа, чисто случайно выпадает мой день рождения. Спасибо, спасибо. – Он скромно склоняет голову. – Да, совершенно точно, пятьдесят семь лет тому назад мир стал немного худшим местом для жизни. Спасибо вам, дорогие. – Он расхаживает, покачивая бедрами, вдоль сцены, обмахивая лицо воображаемым веером. – Очень любезно с вашей стороны, правда, вам не стоит беспокоиться, это уже чересчур, чеки вы потом сможете опустить в ящик у выхода, банкноты прошу клеить мне на грудь в конце представления, и если вы принесли секс-купоны, то немедленно подойдите и передайте мне прямо в руки…

Тут и там люди в зале поднимают стаканы, поглядывая на него. С большим шумом входит компания из нескольких пар – мужчины, шествуя по залу, хлопают в ладоши, – и все они усаживаются за столиками вблизи стойки, служившей когда-то стойкой бара. Они приветственно машут руками человеку на сцене, а женщины еще и окликают его по имени. Он тоже машет рукой им в ответ, прищурившись, будто сомневаясь, как это делают близорукие. Вновь и вновь он обращает свой взгляд на меня, сидящего за столиком в дальнем углу зала. С той минуты, как он вышел на сцену, ищет он мои глаза. Но я не в состоянии прямо поглядеть на него в ответ. Не нравится мне здешний воздух. Не нравится мне воздух, которым он дышит.

– Поднимите руки те, кому уже миновало пятьдесят шесть!

Несколько человек поднимают руки. Он обозревает их и кивает в изумлении:

– Я впечатлен, Нетания! Враз показали замечательную продолжительность жизни! Нет, совсем не просто у вас дожить до такого возраста, верно? Иоав,

направь-ка прожектор на публику, и тогда мы поглядим… Я ведь сказал «пятьдесят семь», госпожа моя, а не «семьдесят пять»… Минутку, братцы, давайте по одному, Довале имеется здесь в избытке, его на всех хватит. Да, четвертый столик, что ты сказал? И тебе тоже пятьдесят семь? Даже восемь? Потрясающе! Глубоко! Он опережает свое время. И когда же это случится, говоришь ты? Завтра? Поздравляю с днем рождения! А как тебя зовут? Как? Повтори! Иор… Иораи?… Ты смеешься надо мной? Это твое имя или так назывался курс, который ты закончил во время своей службы в армии? Ва?лла[12 - Валла – возглас восторга, изумления и проч. (сленг, из арабск. клятвы – «Богом клянусь!»).], братишка, родители определили тебя в шестерки[13 - Автор, конечно же, употребил не «шестерка», а сленговый глагол в прошедшем времени: «синдже?р» – «предназначил удел прислуги, посыльного и т. п.». В израильском сленге такой человек называется «санджа?р» – по-видимому, от английского «мессенджер» (messenger) – «посыльный, «курьер», «связной» и т. п.], а?

Человек по имени Иораи от души хохочет. Его жена, толстая дама, опираясь на него, ласково, круговыми движениями поглаживает его лысину.

– А та, что рядом с тобой, браток, размечающая на тебе территорию, – это госпожа Иораи?т? Будь сильным, брат мой… Видишь ли, ты ведь надеялся, что имя «Иораи» – это последний удар, который судьба обрушила на тебя, а? Тебе было всего три года, когда ты осознал, что сделали тебе родители. – Он медленно шагает по сцене, играя на невидимой скрипке. – Одинокий, всеми заброшенный, ты сидел в углу детского сада, грыз луковицу, которую мама положила тебе в сумочку для завтрака, глядел на детей, играющих вместе, и сказал самому себе: «Приободрись, Иораи, молния не бьет дважды в одно и то же место»… Сюрприз. Она все-таки ударила дважды! Добрый вечер вам, госпожа Иораит! Скажите мне, милая, есть ли у вас замысел просто по-дружески рассказать всем нам об озорном сюрпризе, который вы готовите мужу в день его праздника? Глядя на вас, думаю, что мне точно известны мысли, пробегающие в вашей голове: «Поскольку это твой день рождения, Иорайке, то нынешней ночью я скажу тебе «да», но только не хватает, чтобы ты поступил со мной так, как пытался сделать это десятого июля шестьдесят восьмого года».

Публика просто хохочет во все горло, да и сама мадам дергается в конвульсиях от смеха, волны которого искажают ее лицо.

– А теперь скажите, Иораит, – он снижает голос до шепота, – между нами: вы и вправду думаете, что всякие там ожерелья, бусы и цепочки могут скрыть все ваши подбородки? Нет, серьезно, не кажется ли вам, что в такие времена, когда необходимо потуже затянуть пояса, когда в нашей стране есть молодые пары, вынужденные довольствоваться только одним подбородком, – и он скользнул ладонью по собственному подбородку, короткому, втянутому, иногда придающему ему облик испуганного грызуна, – а вы, саба?ба[14 - Сабаба – нечто доставляющее удовольствие, очень успешное; слово, выражающее согласие, подтверждение. Иногда имеет форму прилагательного «саба?би», «саба?би-ба?би». Широко употребляется и варьируется, к примеру, «сабаби?ш» – от арабск. «цаба?ба» – «прекрасно», отлично».], щедро позволяете себе два… минутку, три! Госпожа моя, только из той кожи, что пошла на ваш зоб, можно было бы сделать еще один ряд палаток, которые молодежь, протестующая против правительства, поставила на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве!

Из-за столиков раздалось несколько рассеянных смешков. Зубы госпожи Иораит обнажились в несколько натянутой улыбке.

– И между прочим, Нетания, если мы уж заговорили о моей экономической теории, то хотелось бы, отбросив все сомнения, уже сейчас заметить, что вообще-то я – сторонник всеобъемлющей реформы финансового рынка!

Он останавливается, тяжело дышит, кладет руки на бедра, ухмыляется:

– Я – гений! Ей-богу! Из уст моих вылетают слова, которые я и сам толком не понимаю! Слушайте хорошенько, я уже целых десять минут решительно и бесповоротно придерживаюсь мнения, что налоги следует взимать с человека исходя непосредственно из его веса – налог на плоть!

Еще один взгляд в мою сторону – изумленный, почти испуганный, пытающийся высвободить из глубин моей личности того тоненького юношу, каким он меня помнит.

– Что справедливее этого, скажите мне? Ведь это – самая объективная вещь на свете.

И вновь он поднимает рубаху до самого подбородка, на сей раз закатывая ее медленными, соблазняющими движениями, выставляя на всеобщее обозрение

впалый живот с поперечным шрамом, узкую грудь и пугающе торчащие ребра, обтянутые сморщенной кожей, усеянной язвочками.

– Это может быть и в соответствии с подбородками, как мы уже говорили, но, по моему мнению, можно ввести прогрессивную шкалу налогов.

Рубашка все еще поднята. Люди устремляют на него испуганные взгляды, но кое-кто отворачивается и тихо фыркает. Сам он взвешивает реакцию публики с неприкрытой страстной увлеченностью.

– Я требую ввести прогрессивный налог на плоть! Обложение налогом должно основываться на учете жировых накоплений – эти складки на боках, брюхо, задница, бедра, целлюлит, сиськи у мужчин, и эта дряблая изнуренная плоть, болтающаяся сверху на женских руках вот здесь, чуть пониже плеча! Но самое прекрасное как раз то, что в моем методе нет ни уловок, ни увиливаний, ни толкований в ту или иную сторону: набрал жирок – плати налог!

Наконец-то он позволяет рубахе вернуться в прежнее положение.

– Убейте меня, но, по сути, я не могу понять саму идею – взимать налоги с тех, кто зарабатывает деньги. Какая в этом логика? Слушайте меня, Нетания, слушайте внимательно: налоги надо брать только с тех, в отношении которых у государства есть веские основания подозревать их в том, что им уж больно хорошо живется: человек сам себе улыбается, он молод, он здоров, он оптимистичен, он трахался[15 - В оригинале – глагол в прошедшем времени «зие?н». Это широко употребляемое сленговое слово от древнего библейского глагола «лезайе?н» – «вооружать» (ивр.). Имеет сленговое значение «совокупляться», «обманывать», «надувать».] ночью, он насвистывает днем. Только с таких холер надо брать, шкуру драть с них безжалостно!

Большинство публики одобрительно аплодирует, но меньшинство – молодые люди в зале, – вытянув трубочкой обезьяньи губы, вопит: «Позор!»

Он вытирает пот со лба и щек красным носовым платком, огромным, как у клоуна в цирке, наблюдая за пререканиями групп в зале – к взаимному удовольствию каждой из них. Тем временем, восстановив дыхание, прикрыв ладонью глаза, он вновь ищет мой взгляд, настойчиво пытается встретиться со мной глазами. Вот он, этот миг – мерцание двух пар глаз, его и моих, и никто,

кроме нас, надеюсь, этого не заметил. «Ты пришел, – говорит его взгляд. – Погляди, что время сделало с нами, вот, я перед тобою, не надо меня жалеть».

И сразу отводит взгляд в сторону, поднимает руку, успокаивая публику:

– Что? Я не слышал… Говори громче, девятый столик! Да, но сначала объясните мне, как ваши люди это делают, потому что мне никогда не удается понять… Что значит «это делают»? Именно то, как вы соединяете ваши брови вместе! Нет, бехайя?т[16 - Бехайят – «честное слово, ну, ей-богу» (сленг, арабск.). Широко употребляется как выражение просьбы, мольбы, особенно в сочетании с другими словами, взятыми из арабского.], откройте нам секрет, вы сшиваете одну бровь с другой? Этому учат в тренировочных лагерях той этнической еврейской общины, к которой вы принадлежите?

Внезапно он вытягивается по стойке смирно и во все горло голосит: «Течет Иордан меж двух берегов, один – наш, второй – наш! Бей врагов!»

– Мой отец, господа, принадлежал к Ордену имени Жаботинского[17 - Жаботинский Зеев (Владимир Евгеньевич, 1880–1940) – писатель, публицист, один из лидеров сионистского движения, идеолог и основатель ревизионистского движения в сионизме. Орден имени Жаботинского основан сторонниками его идей в 1955 году. Песня в тексте – гимн движения ревизионистов.], честь и хвала!

За некоторыми столиками раздаются шумные протестующие аплодисменты. Он останавливает их пренебрежительным движением руки:

– Говори, девятый столик, говори свободно, я оплачиваю этот разговор. Что ты сказал? Нет, это не шутка, Гаргамель[18 - Гаргамель – персонаж из мультсериала, фильмов и комиксов о Смурфах, существах, придуманных и нарисованных (1958) бельгийским художником Пейо (Пьером Кюлифором). Персонаж с таким именем встречается в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Гаргамель – злой, завистливый неудачник – напоминает классические антисемитские карикатуры.], это действительно мой день рождения. Прямо в эту минуту, ну, более или менее, в старом здании больницы Хадаса в Иерусалиме, у моей мамы Сары Гринштейн начались родовые схватки! Невероятно, верно? Женщина, которая, по ее же словам, хотела мне только добра, тем не менее родила меня! Нет, вы только подумайте, как много

судебных расследований и сериалов о преступлениях убийц есть во всем мире, но я до сих пор не слышал ни об одном судебном разбирательстве по поводу родов! Ни о родах преднамеренных, ни о родах по халатности или о родах по ошибке, ни даже о подстрекательстве к родам! И не забывайте, что речь идет о преступлении по отношению к несовершеннолетнему!

Он широко раскрывает рот и ладонями, как веером, подгоняет воздух к лицу, словно задыхается:

– Есть ли судьи в зале? Адвокаты?

Сжимаюсь на стуле. Не позволяю его глазу задержаться на мне. К моему счастью, три молодые пары, сидящие неподалеку от меня, делают ему знаки руками. Выясняется, что они студенты юридического факультета одного из колледжей.

– Вон! – кричит он страшным голосом, машет руками, топает ногами, а публика осыпает их насмешками и презрительным свистом.

– Ангел смерти, – он смеется, задыхаясь, – явился к адвокату и говорит ему, что пришел забрать его. Адвокат плачет, рыдает: «Мне всего лишь сорок!» Говорит ему ангел смерти: «Не в соответствии с часами, оплачиваемыми твоими клиентами!»

Молниеносный боксерский выпад кулаком, полный оборот тела вокруг собственной оси. Студенты хохочут громче всех.

– А теперь – о моей матери. – Лицо сразу становится серьезным. – Прошу вашего внимания, дамы и господа присяжные заседатели, речь идет о жизненно важных решениях. Злые языки утверждали, – я только цитирую, – что, когда меня дали матери в руки сразу же после рождения, все видели, как она улыбается и, возможно, даже улыбается счастливо. Про-о-сто та-ак, говорю я вам, злостные измышления, грубая клевета!

Публика смеется. Человек вдруг падает на колени у самого края сцены, склоняет голову:

– Прости меня, мама, я напакостил, предал, еще раз предал тебя ради красного словца. Я – проститутка, публичная девка, не в состоянии отвыкнуть от дурных привычек…

Он резко вскакивает на ноги. Рывок, по-видимому, вызывает у него легкое головокружение, потому что он стоит, пошатываясь.

– А теперь серьезно, без шуток и анекдотов. Она была самой красивой во всем мире, моя мама, богом вам клянусь, лиц такого класса уже не рисуют, с огромными голубыми глазами.

Он, широко растопырив пальцы, протягивает ладони к публике, а я вспоминаю его детский взгляд – сияющий, пронзительно-голубой.

– Самой странной в мире она была, моя мама, самой грустной.

Он чертит пальцем по щеке под глазом след слезы и круглит рот в улыбке:

– Уж такой она удалась, такой выпал нам жребий, никто не жаловался, да и папа был в порядке, в полном порядке. – Он останавливается, энергично почесывает растрепавшиеся волосы по обеим сторонам головы, над ушами. – Гм… Дайте мне минутку, и я вернусь к вам с кое-чем… Да! Папа был потрясающим парикмахером, а с меня он не брал денег, даже если это противоречило его принципам.

И он вновь бросает взгляд на меня. Проверяет, смеюсь ли я. Но я даже не пытаюсь притворяться. Заказываю пиво и рюмку водки. Как он сказал? Необходимо обезболивание, чтобы пройти все это.

Обезболивание? Полная анестезия мне необходима!

Он опять шутит. Словно подталкивает себя вперед, еще дальше. Сверху на него направлена одна спот-лампа, и вокруг ложатся жизнерадостные тени; со странной задержкой движения отражает выпуклая поверхность огромной медной вазы, стоящей у него за спиной, в глубине сцены, у самой стены, возможно, сохранившийся остаток реквизита какого-то спектакля, что играли здесь когда-то.

– Кстати, раз уж речь зашла о моем рождении, Нетания, давайте посвятим этому космическому событию полминуты, ибо я – и я говорю не о настоящем, когда нахожусь на вершине рейтинга мира развлечений, дико популярный секс-символ эстрады…

Позволяя публике от души насладиться смехом, он кланяется, кивая с широко открытым ртом.

– В свое время, на заре своей автобиографии… короче, когда я был маленьким, до чего же я был извращенным, все провода у меня в голове были подсоединены наоборот, но вы не можете поверить, каким я был потрясным ребенком… Ну, в самом деле, – он улыбается, – хотите посмеяться, Нетания? Вы и в самом деле хотите посмеяться?

Он выговаривает самому себе:

– Что за дурацкий вопрос, прямо из задницы! Приветик! Ведь это стендап-шоу, вы еще это не усвоили? Полный балбес! Олух!

И вдруг раскрытой ладонью с невероятной силой лупит себя по лбу:

– Именно за этим они сюда и пришли! Смеяться над тобой они пришли! Не так ли, друзья мои?!

Это ужасный удар по собственному лбу, мощная затрещина. Взрыв насилия, абсолютно неожиданный. Утечка губительной информации, принадлежащей совсем иному миру. Воцаряется безмолвие. Кто-то разгрызает зубами твердую конфету, и звук разносится по всему залу. Почему он настаивал на моем приходе? Зачем ему прибегать к услугам наемного убийцы, думаю я, когда он и сам с собой совсем неплохо справляется?

– Послушайте историю, – восклицает он, словно этого удара не было и вовсе. Как будто на лбу у него нет белого пятна, становящегося постепенно красным, и очки на носу вовсе не перекошены. – Однажды, когда мне было, наверное, лет двенадцать, я решил обязательно выяснить, что же случилось за девять месяцев до того, как я родился, что именно воспламенило моего отца, неудержимо ринувшегося в атаку на мою маму. И вы должны понять, что никаких доказательств вулканической деятельности в его брюках, кроме меня, не

набралось. Не то чтобы он ее не любил. Послушайте, все, что этот человек делал в своей жизни с той минуты, как открывал утром глаза и до отхода ко сну, все его комбинации-манипуляции со складами, мопедами, запчастями, тряпьем, застежками, ловкими приемами, с помощью которых мигом решаются все проблемы… да сделайте вид, будто понимаете, о чем я говорю, ладно? Прекрасный город, Нетания, чудесный… так что для него все эти глупости, по сути, значили намного больше, чем просто заработок, больше, чем все на свете: все это только для того, чтобы произвести на нее впечатление. Он просто хотел, чтобы она ему улыбалась, гладила по голове: «Хорошая собачка, хороший песик». Есть мужчины, которые пишут стихи своим любимым, верно?

– Верно! – отвечают ему из публики несколько голосов, все еще немного испуганных.

– А есть и такие, которые, скажем, покупают ей бриллианты, пентхаус, внедорожник повышенной проходимости, дизайнерские клизмы, верно?

– Вер-но! – теперь уже кричат многие из публики, жаждущие угодить ему.

– И есть такие, кто, как мой абу?я[19 - Абуя – «отец», уважительное обращение к старшему (сленг).], покупает на улице Алленби в Тель-Авиве двести пар поддельных джинсов у старухи, уроженки Румынии, как говорится, «румын» – вор, «поляк» – партнер»[20 - Речь идет о евреях, уроженцах Румынии и Польши (ивр., разг.).], и потом продает их в задней комнате своей парикмахерской, выдавая за настоящие ливайсы. И все это для чего? Для того чтобы вечером он мог показать ей маленькую записную книжечку, где отмечено, сколько мелочи он заработал на этом…

Он останавливается, глаза его необъяснимо блуждают, публика, затаив дыхание, будто видит то, что видит он.

– Но по-настоящему прикасаться к ней так, как мужчина прикасается к женщине, даже, скажем легонько погладить по заднице в коридоре, этаким круговым движением питы по хумусу – такого на моих глазах он никогда в жизни не делал! Так скажите же, братья мои, ведь вы люди мудрые, если уж решили жить в Нетании. Вот и объясните мне, здесь и сейчас, почему он к ней не прикасался? А? Гребаный бог его знает. Минутку, – он приподнимается на цыпочках, одаряет публику взволнованным взглядом, исполненным бесконечной

благодарности, – вы действительно хотите об этом услышать? В самом деле у вас сейчас в голове подвиги и приключения моей королевской семьи, вся эта хартабу?на?[21 - Хартабу?на – пустяковина, нечто незначительное, никудышное, ничего не стоящее (сленг, арабск.).]

Мнение публики разделяется: часть с ликованием поощряет и подбадривает, другие кричат, требуют, чтобы он начал уже рассказывать анекдоты, смешить собравшихся. Два бледных байкера в черных кожаных одеждах барабанят по столу в четыре руки, а их стаканы с пивом пляшут и скачут. Трудно понять, кого поддерживают эти байкеры, быть может, они просто получают удовольствие, раздувая суматоху и переполох. Мне все еще не удается определить, то ли это двое юношей, то ли юноша с девушкой, то ли две девушки.

– Довольно, не может быть, чтобы вам по-настоящему, в самом деле хотелось познакомиться сейчас с теленовеллой о династии Гринштейн. Нет, позвольте мне понять, Нетания, это ваша попытка разгадать загадку моей магнетической личности? – Он устремляет на меня взгляд, сверкающий озорством и задором. – Вы и вправду думаете, что преуспеете там, где напрочь провалились все исследователи и биографы? – Почти весь зал дружно аплодирует. – Значит, вы воистину братья мои! Каждому из вас, Нетания, я от души говорю: «Ты аху?к[22 - Аху?к – друг, товарищ (сленг, от арабск. аху?к – «твой брат»).] мой! Мы – союз городов-побратимов!

Он просто тает от удовольствия и широко раскрывает глаза, источающие бесконечную наивность. Щедрый смех переполняет зал. Люди улыбаются друг другу. Даже до меня по ошибке долетают несколько улыбок.

Он стоит на авансцене, заостренные носки его сапог выступают за самый край, нависая над полом; он перечисляет возможные гипотезы, загибая пальцы на руке:

– Первое. Может быть, он, мой папа, слишком обожал ее, до такой степени, что боялся к ней прикасаться? Второе. Возможно, у нее вызывало отвращение то, что крутится он по дому с такой черной сеточкой для волос после того, как вымоет голову? Три. Наверное, это из-за Холокоста, который она пережила, и то, что он не принял участия в этом, даже в качестве статиста? Поймите, человек не только не был убит во времена Холокоста, он даже не был ранен! Четыре. Возможно, и я, и вы вообще пока не созрели для того, чтобы наши родители встретились?

Смех в публике. Он – комик, клоун – вновь носится по сцене в своих джинсах с прорезями на коленях, но зато гордящийся красными подтяжками с позолоченными застежками; его маленькие ковбойские сапоги украшают серебряные шерифские звезды. Теперь и я заметил, что на затылке у него прыгает маленькая жидкая косичка.

– Короче, только для того, чтобы закончить эту историю, чтобы наконец мы могли начать вечер, который уже заканчивается, – са?хбак[23 - Са?хбак – здесь: человек представляет себя другим, говоря о себе в третьем лице. Широко употребляемое сленговое слово, имеет много вариаций, превращается и в глагол, и в прилагательное, и в иное существительное, и в местоимение «я». От арабск. «ца?хбак» – «твой друг», «товарищ», «дружище».] пошел, открыл календарь, листал страницы в обратную сторону, отсчитав ровно девять месяцев со дня его рождения, нашел, нашел соответствующую дату и побежал с этой датой к куче газет «Херут»[24 - «Херут» («Свобода») – газета движения сионистов-ревизионистов Херут, идейным вождем которого был Зеев Жаботинский. В 1948 году была создана политическая партия Херут, 14 представителей которой были избраны в кнессет первого созыва (1949). Партия издавала газету «Херут» (1948–1966).], которую собрал мой папа-ревизионист; половина комнаты в нашей квартире была занята «Херутом», а еще половина была заполнена тряпками, которые он продавал, мой абуя, всякие джинсы, хула-хупы, приборы для уничтожения тараканов ультрафиолетовыми лучами. Только притворитесь…

– …что вы все понимаете! – Несколько голосов в районе бара с ликованием завершают замысловатые движения его руки.

– Прекрасно, Нетания!

Даже, когда он смеется, его взгляд очень концентрирован, безрадостен, он словно следит за лентой конвейера, по которой катятся шутки, слетающие с его губ:

– А мы трое, биологический материал семейства, яану[25 - Я

ану – «так сказать» с ноткой сомнения (арабск.).], теснились в оставшейся комнате с закутком, и, между прочим, ни одного листика «Херута» папа не

разрешал выбросить: «Это будет Библией будущих поколений!» – возглашал он, потрясая в воздухе указательным пальцем, а его маленькие усики топорщились, словно его ударили электрошокером по яйцам. И там, девять месяцев тому назад, точно в тот день, когда я вылупился на свет – из ловушки да в западню – и навсегда изменил экологический баланс, куда, как вы думаете, попадает са?хбак? Прямо в яблочко – в Синайскую кампанию![26 - Синайская кампания – принятое в Израиле название Суэцкой войны (второй арабо-израильской войны) (29 октября – 5 ноября 1956 года). То же, что операция «Кадеш».] Улавливаете? Не безумие ли это, скажите? Гамаль Абдель Насер объявляет, что национализирует Суэцкий канал и закрывает его для прохода израильских кораблей перед самым нашим носом, а мой папа, Хезкель Гринштейн из Иерусалима, ростом метр пятьдесят девять, с волосами, как у обезьяны, с губами, как у девушки, не колеблясь ни минуты, отправляется открывать этот канал! И верно, если подумать об этом, то я в некотором роде являюсь «операцией возмездия»! Усваиваете? Я – первая расплата «по ценнику», а уж потом этот «ценник» вошел в обиход наших расчетов с соседями. Вы меня поняли? Есть Синайская кампания, операция «Кара?ме»[27 - Операция «Караме» (март 1968 года) – атака Армии обороны Израиля на лагерь палестинских беженцев в деревне Караме (Иордания), где располагалась штаб-квартира ФАТХ.], операция «Энте?ббе»[28 - Операция «Энтеббе» – успешная операция спецподразделений Армии обороны Израиля в аэропорту Энтеббе (Уганда) в июле 1976 года с целью освобождения самолета компании «Эр Франс», следовавшего из Тель-Авива в Париж и захваченного членами Народного фронта освобождения Палестины и западногерманских «Революционных ячеек». Угонщики требовали освобождения западногерманских политзаключенных из тюрем нескольких стран.], операция «Мать твою», а есть еще Операция «Гринштейн», по которой еще не настало время рассекретить все подробности и детали, но у нас случайно есть здесь редкая аудиозапись прямо из оперативного штаба, правда, не самого хорошего качества: «Госпожа Гринштейн! Раздвиньте ноги! Получи, египетский тиран! Трам-тарарам!» Прости, мама! Извини, папа! Мои слова выдернули из контекста! Я снова вас предал!

И с этими словами он снова страшно бьет себя обеими руками по лицу. А потом и еще раз.

Несколько секунд я ощущаю во рту вкус ржавого металла. Сидящие рядом со мной люди испуганно отшатываются в креслах, их веки сильно дрожат. За соседним столиком женщина что-то резко шепчет мужу и собирает сумочку, а он кладет руку ей на бедро, пытаясь задержать.

– А теперь, Нетания, мон амур, соль земли – между прочим, правда ли, что всякий раз, если кто-нибудь на улице спрашивает у вас: «Который час?» – то это, по всей видимости, осведомитель полиции?.. Шутка! Я просто пошутил! – Он весь сжимается, сводит брови к переносице, глаза бегают в разные стороны. – Присутствует ли здесь, среди публики, какой-нибудь Альперон, чтобы мы смогли оказать ему почет и уважение? Или Абутбуль? Молодчики из команды Деде, кто-нибудь? Бебер Амар тут? Кто-нибудь из родственников Бориса Элькоша? Или маленького Пинуша? Может быть, случайно в зале находится Тиран Ширази собственной персоной, почтивший нас своим присутствием? Бен Сутхи? Семейство Ханании Эльбаза? Элияху Русташвили? Шимон Бузатов?[29 - Среди названных имен есть и известные персонажи израильской криминальной хроники.]

Его слова постепенно начинают сопровождать жидкие аплодисменты. Мне кажется, эти аплодисменты помогают людям в зале выбраться из паралича, который сковал их несколькими минутами раньше.

– Нет, Нетания, – кричит он, – не поймите меня неправильно, я всего лишь хочу проверить, веду предварительную разведку! Я, видите ли, всегда перед выступлением в каком-либо месте первым делом захожу в гугл, выясняю возможные опасности…

И тут он вдруг устает. Словно вмиг опустошается. Он кладет руки на бедра, тяжело дышит. Его вытаращенные глаза устремлены в пространство, остекленевшие, застывшие, как у старика.

Он позвонил мне примерно две недели тому назад. В половине двенадцатого ночи. Я как раз вернулся с прогулки с собакой. Он представился. В его голосе чувствовалось какое-то напряженное, праздничное ожидание. Я не среагировал на это ожидание. Он смутился и спросил, я ли это и неужели его имя мне ничего не говорит. Я ответил, что не говорит. Я ждал. Терпеть не могу людей, устраивающих подобные викторины. Имя звучало знакомо, как-то смутно, но тем не менее знакомо. Я знаю его не по работе, в этом я был уверен: отторжение, которое я испытывал, было совсем иного свойства. Это кто-то из более близкого окружения, думал я. С большими возможностями для удара.

– Какая боль! – усмехнулся он. – Я-то как раз надеялся, что ты вспомнишь…

Смешок был негромким, чуть хриплым, на секунду я подумал, что он пьян.

– Не беспокойся, – сказал он, – я буду краток.

На этом месте он хихикнул:

– Я всегда короток, с трудом метр шестьдесят, и когда я умру, то меня похоронят на участке «Малых людей нации», а не там, где похоронены «Великие люди нации».

– Послушай, – сказал я, – чего ты от меня хочешь?

Он обескураженно замолчал. Снова стал выяснять, я ли это.

– У меня к тебе просьба, – сказал он и в ту же секунду стал собранным и деловитым. – Выслушай меня и реши, у меня нет проблем, если скажешь «нет». Ноу хард филингс[30 - No hard feelings – без обид (англ.).], да это и не займет у тебя много времени, всего один вечер. Я, конечно, заплачу столько, сколько ты скажешь, не стану с тобой торговаться.

Я сидел в кухне, все еще держа в руке поводок. Собака, слабая, сопящая, стояла рядом, глядела на меня своими человечьими глазами, словно удивляясь, что я до сих пор не прекратил беседу.

На меня навалилась странная слабость. Я чувствовал, что между мной и этим человеком параллельно ведется еще одна беседа, приглушенная, неясная, а я слишком медлителен, чтобы понять ее. Он, по-видимому, ждал ответа, но я не понимал, о чем он просит. Возможно, он уже попросил, но я не слышал. Помню, что взглянул на свои туфли. Что-то в них, то, как они были обращены один к другому, вдруг сдавило мне горло.

Он медленно пересекает сцену, направляясь к креслу у правого ее края. Это огромное изношенное красное кресло. Возможно, оно, и как огромная медная ваза, – сохранившийся реквизит спектакля, который когда-то играли в этом зале. Он со вздохом падает в кресло, погружаясь все глубже и глубже, и, кажется, еще минута – и оно совсем его поглотит.

Люди устремляют взгляды в стаканы, зажатые в руке, кругообразными движениями кисти взбалтывают вино, наполняющее их, рассеянно щелкают орешки, поданные на блюдечках.

Молчание.

И – приглушенное хихиканье: он выглядит как ребенок в кресле великанов. Замечаю, что некоторые в зале опасаются смеяться в полный голос и избегают встречаться с комиком взглядом, словно боятся запутаться в каких-то сложных внутренних счетах, которые он ведет с самим собой. Возможно, как и я, чувствуют, что некоторым образом уже запутались и в счетах, и в человеке значительно больше, чем предполагали. Вверх медленно поднимаются сапоги, открывая взору зрителей высокие, несколько женственные каблуки. Смешки становятся все громче, набегая волна на волну, – и вот уже смех заливает весь зал.

Он брыкается, судорожно машет руками, словно тонет, и кричит, и задыхается, но, наконец, с корнем вырывает себя из глубин кресла, резким прыжком вскакивает на ноги, останавливается в нескольких шагах от кресла-гиганта, тяжело дышит и глядит с опасением на него. Публика облегченно смеется – старый, добрый слэпстик[31 - Slapstick – «фарс», «грубый фарс» и ряд других значений (англ.).], – а он обращает к зрителям страшную физиономию, сеющую ужас, и зал смеется еще пуще. Наконец-то и он снисходит до улыбки, впитывая смех, на который никто не скупится. Неожиданная нежность вновь придает его лицу особую утонченность, публика бессознательно откликается на нее, выражая свою приязнь и расположение, а он, комик, эстрадник, развлекающий публику, клоун, полностью отдается отражению своей улыбки в лицах людей, той минуте, о которой невозможно подумать, будто он верит в то, что видят его глаза.

И вновь, будто не в силах вынести симпатию и любовь ни одной лишней секунды, брезгливо вытягивает губы в тонкую линию. Эту гримасу я уже видел раньше: маленький грызун молниеносным движением кусает сам себя.

– Жутко извиняюсь, что так запросто врываюсь в твою жизнь, – сказал он мне в той ночной телефонной беседе, – но я как-то надеялся, что по праву, знаешь ли, нашей юношеской дружбы, – он вновь усмехнулся, – все-таки, можно сказать, мы

начинали вместе, и ты некоторым образом пошел своим путем, почет и уважение, честь тебе и хвала.

Тут он выдержал паузу, ожидая, что я вспомню, пробужусь наконец. Он не мог себе даже представить, с каким упорством я держусь за свое бессознательное состояние и каким неистовым могу быть к тому, кто пытается нас разъединить.

– Мне понадобится всего лишь минута, чтобы объяснить тебе, не более того, – сказал он. – Посвятишь мне минуту своей жизни, сабаба?

Примерно одного со мной возраста, а разговаривает на молодежном сленге: ничего хорошего из него не выйдет. Я закрыл глаза и попытался вспомнить. Дружба дней юности. Из каких дней юности он ко мне прибыл? Из детства в Гедере? Из тех лет, когда по причине деловой активности отца я мотался с родителями между Парижем, Нью-Йорком, Рио-де-Жанейро и Мехико? Или, возможно, из тех времен, когда мы вернулись в Израиль и я учился в иерусалимской средней школе? Я пытался думать быстро, отыскать пути к собственному спасению. Этот голос вгонял меня в тоску, будоражил тени души.

– Скажи, – вдруг взорвался он, – ты прикидываешься или стал слишком важной шишкой, чтобы… Как же ты не помнишь?

Давно уже не говорили со мной таким тоном. До меня словно долетело дуновение чистого, свежего воздуха, мигом стряхнувшего ту мерзость, которую я обычно чувствую при выражении пустого благоговения и почитания окружающих, даже спустя три года после того, как я ушел на покой.

– Как же можно такое не помнить? – гневно продолжал выговаривать он. – Целый год мы учились вместе у этого Кальчинского из квартала Ба?ит ва-Ган, а после занятий обычно пешком шли вместе к автобусу…

Постепенно наступала ясность. Я вспомнил маленькую квартирку, где даже в полдень царил сумрак, потом вспомнил и мрачного учителя, очень высокого, тощего, сутулого, иногда мне даже казалось, что плечами он подпирает потолок. Мы, пять или шесть парней из разных иерусалимских школ, лишенных способностей к математике, собирались группой, чтобы вместе учиться частным образом.

Он продолжал говорить, охваченный бурным волнением, обижаясь, напоминая о том, что давно было забыто. Я слушал его и не слышал. На подобные чувства не было у меня никаких сил. Я переводил глаза с одного предмета в кухне на другой: здесь я должен починить, тут – побелить, там – смазать, а там – законопатить. На языке Тамары эти каждодневные обязанности по дому называются «тюрьма «Маасия?ху»[32 - Тюрьма «Маасияху» – особая тюрьма в Израиле, где отбывают срок наказания те, кто когда-то занимал высокие должности в разных сферах государственной деятельности: в политике, в экономике, в общественной жизни.].

– Ты меня вычеркнул напрочь, – сказал он, потрясенный.

– Я сожалею, – пробормотал я.

И, только услышав самого себя, вдруг понял, что именно мне действительно есть о чем сожалеть. Тепло собственного голоса кое-что открыло мне самому, и из этого тепла явился мальчик, весь, до малейшего штриха – очень светлый, весь в веснушках, буквально усыпанный ими. Невысокий, худощавый мальчик, в очках, с выступающими губами, беспокойными с вызовом. Мальчик, который говорил быстро и всегда немного хрипло. И я тут же вспомнил, что, несмотря на светлую кожу и розовые веснушки, его густые курчавые волосы были очень темными, жгуче-черными, и этот цветовой контраст производил на меня своеобразное впечатление.

– Я тебя помню, – неожиданно сказал я, – конечно же, мы, бывало, шли вместе… Не могу поверить, что мог вот так…

– Слава богу, – вздохнул он, – я уже начал думать, что выдумал тебя.

– И ве-чер доб-рый потрясающим красавицам Нетании! – грохочет он, вновь возвращаясь к прыжкам и пляскам по сцене, и стучит каблуками. – Я знаком с вами, девушки, хорошо знаю изнутри… Что ты спрашиваешь, тринадцатый столик? Ну и наглец же ты, это тебе уже говорили?

Его лицо суровеет, и на секунду кажется, что он и вправду обижается:

– Ну, знаешь ли, напасть с таким вопросом на застенчивого, замкнутого в своем внутреннем мире человека, подобного мне… Конечно же, у меня были женщины

из Нетании! – приветственно восклицает он и выдает головокружительную улыбку во весь рот. – Не гнушался! Времена были трудные, мы вынуждены были довольствоваться малым…

Публика – и мужчины, и женщины – колотит ладонями по столу, свистит, хохочет, ревет «Позор!». А он на сцене преклоняет колено перед тремя загорелыми смешливыми пожилыми дамами, подсиненные волосы которых уложены в воздушные прически.

– Алаха?н[33 - Алаха?н – привет (при встрече; сленг, арабск.).], восьмой столик, что нынче празднуют красавицы? Кто-то из вас в эту самую минуту становится вдовой? Есть ли мужчина, в предсмертных муках отдающий душу свою в одной из больниц Нетании? Вперед, дружище, вперед! – Он подбадривает издали этого воображаемого друга. – Еще один рывок – и ты свободен.

Женщины смеются, беспорядочно лупят руками воздух. Он, вращаясь вокруг своей оси, скачет по сцене и в какую-то минуту чуть не сваливается с нее, а публика смеется еще громче.

– Трое мужчин! – выкрикивает он, высоко держа три пальца. – Трое мужчин, итальянец, француз и еврей, сидят в пабе и рассказывают, как они доставляют удовольствие своим женщинам. Француз говорит: «Я свою мадемуазель от макушки до кончиков пальцев ног смазываю прованским маслом, и после того, как она кончает, потом кричит еще пять минут. Итальянец говорит: «Я же, когда накачиваю свою синьору, то прежде всего смазываю ее тело сверху донизу оливковым маслом, которое покупаю в одной деревушке на Сицилии, и когда она кончает, потом кричит еще десять минут». А еврей молчит. Ни слова. Француз и итальянец смотрят на него: «А что с тобой?» – «Со мной? – отвечает еврей. – Я мою Песю смазываю гусиным салом, тем, что у нас называется «шмальц», и после того, как она кончает, потом кричит еще целый час». «Час?» Француз и итальянец прямо с ума сходят: «Что именно ты ей делаешь?» – «А-а-а, – говорит еврей, – вытираю руки занавеской».

Оглушительный смех. Женщины и мужчины вокруг меня обмениваются взглядами. Я заказал фокаччу и печеный баклажан с тхиной. Меня одолел голод.

– Где же я был? – весело говорит он, краем глаза следя за моей беседой с официанткой, и мне кажется, он счастлив от того, что я заказываю себе какую-

то еду.

– Шмальц, еврей, его жена… Мы, истинно, народ особый, верно, братья мои! Нет, нет еще другого такого народа, как наш еврейский народ! Самый-самый избранный! Самый-самый особый! Ультраособый! – Публика аплодирует. – Правду говоря, по этому поводу, если вы позволите небольшое отклонение, как говорил некрофил своей покойной теще, – до чего же меня раздражает новый антисемитизм! Нет, серьезно: к старому антисемитизму я уже как-то привык, даже немножко ему симпатизировал, этим прелестным сказкам о сионских мудрецах, нескольких троллях с бородой, с длинным крючковатым носом, которые, собравшись вместе, требуют аппетайзеры проказы с кардамоном и чумой, обмениваются рецептами киноа, рисовой лебеды и яда для отравления колодцев да заодно прирезывают к Пасхе христианского младенца. Эй, ребята, вы не обратили внимания, что в этом году младенцы несколько горчат? Со всем этим мы уже научились жить, привыкли, это часть нашего наследия, яани[34 - Я

ани – «так сказать» с оттенком некоторого сомнения (сленг, арабск.).]. И вдруг являются к тебе эти со своим новым антисемитизмом, прямо не знаю, но мне с ним до того неудобно, что даже хочется от них отмежеваться. – Он заламывает пальцы, и плечи его извиваются с неподдельным смущением. – Не знаю, как сказать, без того, чтобы, не приведи господь, не задеть и не оскорбить новых антисемитов, однако дружбаны-приятели мои, дахи?лькум[35 - Дахи?лькум – слово, означающее просьбу в умоляющем тоне (сленг, арабск.).], что-то в вашем подходе слегка раздражает, так? Потому что иногда я думаю: что будет, если какой-нибудь израильский ученый, к примеру сказать, вдруг изобретет лекарство против рака, так? Лекарство, которое покончит с раком раз и навсегда? Так вот, я вам гарантирую, что во всем мире тут же начнутся вопли, вспыхнут протесты и демонстрации, голосования в ООН, статьи во всех европейских газетах: «А почему, собственно, надо причинять вред раку?» И если уж причинять вред, то зачем же тотчас уничтожать? Почему бы и нам самим не поставить себя на его место и поглядеть, например, как он, рак сам, со своей стороны, переживает болезнь? Давайте не будем забывать, что у рака есть и положительные стороны. Факт! Есть немало людей, которые вам скажут, что противоборство с раком сделало их лучше! И надо помнить, что исследования рака ведут к разработке лекарств от других болезней, а теперь это все вдруг прекратится, да еще посредством полного уничтожения! Что, вы не усвоили уроки прошлого? Забыли «мрачные эпохи»? И вообще, – на его лице появляетсязадумчивость, – есть ли и вправду в человеке нечто такое, что делает его выше рака и поэтому он обладает полным правом рак уничтожить?

Раздаются жидкие аплодисменты. Но его уже несет дальше:

– До-об-рый вечер и вам, мужчины. Не страшно, что вы пришли. Будете сидеть тихо, позволим вам следить за происходящим в ранге наблюдателей, а поведете себя неподобающе – отправим всех в соседнюю комнату для химической кастрации, сабаба? Итак, уважаемые леди, позвольте мне наконец-то представиться официально, и давайте покончим с дикими догадками относительно личности этого таинственного и обаятельного мужчины: До?вале Джи, это имя, это заглавие, это самый успешный бренд на всем пространстве южнее Хадрама?ута[36 - Хадрама?ут (ивр. «Хацармавет», что значит «подворье смерти»; Бытие, 10:26–28) – историческая область на юге Аравийского полуострова. Ныне – название одной из провинций Йемена.], да и запомнить легко: До?вале – это как «оп але!» или как «дай суфле!», а Джи – как известная точка, яблочко в мишени для наших дротиков. И вот он я – весь ваш, девочки, добыча для ваших самых необузданных фантазий, с этой минуты и до полуночи. «Но почему до полуночи?» – спрашиваете вы с разочарованием. Потому что в полночь я отправлюсь домой, и только одна из всех присутствующих здесь красавиц удостоится сопровождать меня и слиться с моим бархатным телом в ночь вертикальных и горизонтальных прикосновений, но главным образом виральных, но и это, разумеется, только в такой степени, в какой позволит мне голубой шар счастья, который дает мне несколько часов или предоставляет взаймы то, что отобрал рак простаты. Скобка открывается: какой же он идиот, этот рак, если вы меня спросите. Серьезно, подумайте только. У меня есть столь прекрасные притягательные части тела. Люди приезжают из Ашкелона полюбоваться этой красотой. Например, великолепной круглой пяткой, – он поворачивается к залу спиной и, согнув ногу в колене, с грациозным обаянием поднимает сапог, – или моими точеными бедрами, или шелковистой грудью, или ниспадающими волосами. Но этот дегенерат, рак, предпочитает погрязать в моей простате! Получает удовольствие, играя с моей пиписькой. До чего же я разочаровался в нем. Скобка закрывается. Но до полуночи, сестры мои, мы сорвем крышу смехом, пародиями, избранными номерами из моих выступлений за последние двадцать лет, о чем не написано в объявлениях, потому что я даже шекель не стану выбрасывать на объявления, рекламирующие меня, кроме малюсенького объявления, величиной с почтовую марку в бесплатном еженедельнике, выходящем в Нетании. Эти шлюхи даже листок на дереве не приклеили. Сэкономил ты на мне, Иоав. Чтоб ты был здоров, душа моя. Пикассо, пропавший пес-ротвейлер, получил здесь на электрических столбах больше экранного времени, чем досталось мне, ведь я проверил, столб за столбом, обошел всю промзону Нетании. Сатхе?н[37 - Сатхе?н – возглас одобрения: «почет

и уважение!», «Молодец!» (сленг, арабск.). Часто употребляется в разговорной речи.], Пикассо, задал ты им жару, только не спеши возвращаться, послушай меня, со всей ответственностью говорю: самый лучший способ добиться того, чтобы тебя оценили в каком-либо месте, – просто не быть там, правда? Не такова ли была идея, стоявшая за деяниями Бога во время Холокоста? Не на этом ли основана вся концепция смерти?

Публика увлечена полностью.

– Нет, скажите мне, Нетания, разве не безумие то, что мелькает в голове людей, развешивающих объявления о пропавших животных? «Потерялся хомячок золотистого цвета, хромает на одну ножку, на глазах катаракта, не переносит глютен, страдает аллергией на миндальное молоко». Алло, какие у вас проблемы? Даже без всяких поисков могу вам сказать, где он: ваш хомячок в приюте для инвалидов и больных.

Публика смеется от всего сердца и немного успокаивается, словно чувствует, что где-то исправлена опасная ошибка в навигации.

– Я хочу, чтобы ты пришел на мое представление, – сказал он мне по телефону после того, как ему удалось прорваться в мою упрямую память.

Мы даже предались воспоминаниям, на удивление весьма приятным; мысленно вернулись к тем часам, когда дважды в неделю шли вместе от квартала Баи?т ва-Ган к автобусу, который привозил меня прямо к дому в квартале Талпиот. Он говорил о наших прогулках с огромным воодушевлением.

– Именно там началась наша дружба, – повторил он дважды или трижды, сопровождая свои слова легким смехом, в котором звучало удивительное счастье. – Мы шли и говорили, и говорили… «Уоки-токи» – наша дружба, – продолжал он, вспоминая мельчайшие подробности, будто эта мимолетная дружба была лучшим из того, что случилось с ним в жизни.

А я терпеливо слушал, надеясь узнать, чего именно ему хочется, что я должен сделать ради него, – и уж тогда мне удастся отказать, не причиняя особой боли, а затем вновь исторгнуть его из моей жизни.

– Какое именно представление ты просишь меня посмотреть?

Я решительно перебил, как только он на миг остановился, набирая воздуха в легкие.

– Я, – он ухмыльнулся, – как бы это сказать… в принципе я делаю стендап.

– А-а, – произнес я с облегчением, – это не для меня.

– Ты знаком с жанром стендап? – спросил он с легкой усмешкой. – Я как-то не думал, что ты вообще… Тебе доводилось когда-нибудь видеть такое шоу?

– Иногда, по телевизору, – ответил я. – Не воспринимай это как на свой счет, но это как раз то, что мне совершенно ни о чем не говорит.

Я мгновенно выбрался из паралича, охватившего меня с той минуты, как я ответил на телефонный звонок. Была ли в его обращении ко мне какая-то тайна, загадка или некое невысказанное обещание, предположим, возобновить старую дружбу, – все это немедленно утратило силу, мигом развеялось: стендап-комеди.

– Послушай, – сказал я, – для тебя я не клиент. Все эти игры, шуточки, смешки не для моей головы и не для моего возраста, сожалею.

Он медленно произнес:

– О’кей, твой ответ абсолютно ясен, никто не обвинит тебя в том, что ты наводишь тень на плетень.

– Не пойми меня неправильно, – сказал я и тут же заметил, что собака поднимает уши и смотрит на меня с тревогой, – я уверен, есть немало людей, которые получают удовольствие от подобных представлений, я никого не сужу, у каждого свой вкус…

По-видимому, я прибавил еще несколько слов в том же духе. К счастью, я не все помню. Мне нечего добавить в свою защиту, возможно, только то, что с первой же минуты я чувствовал – наверное, смутно помнил, – что у этого человека есть

некий дар или склад характера «ключа-отмычки» (вдруг в памяти всплыло это выражение из детства) и я должен быть предельно осторожным.

Но и это, разумеется, никак не оправдывает мои нападки. Потому что я вдруг ни с того ни с сего напустился на него, словно мой собеседник был полномочным представителем легкомысленной несерьезности всего человечества во всех ее обличьях.

– И для таких, как ты, – вскипел я, – любая вещь, по сути, только повод для смеха, каждая вещь и каждый человек – все сгодится, почему бы и нет, если есть немного таланта к импровизации и быстрая реакция. Тогда все можно превратить в шутку, в пародию, в карикатуру – болезни, смерть, войны, – все поддается осмеянию, а?

Наступило долгое молчание. От головы медленно отливала кровь, оставляя после себя ощущение холода в мозгу. И еще удивление от самого себя: во что я превратился?

Я слышал его дыхание. Чувствовал Тамару, сжимающуюся во мне. «Ты полон гнева», – сказала она. Я полон тоски, думал я, разве ты не видишь? У меня – отравление тоской.

– С другой стороны, – сдавленно бормотал он с какой-то меланхолией, терзавшей мое сердце, – по правде, я и сам уже не так увлечен стендапом, как прежде. Раньше – да, раньше для меня это было подобно хождению по канату. Каждую минуту ты вот-вот рухнешь на глазах у всех. Промахнешься на миллиметр – утратил кульминацию шутки, или, скажем, употребил слово не там, где оно должно быть, или голос чуть повысил, а не понизил – и публика тут же на месте к тебе охладевает. Но если спустя секунду после этого ты тронешь ее верным словом – публика раздвинет ноги.

Собака попила воды. Ее длинные уши касались пола по обеим сторонам миски. Все ее тело было в огромных проплешинах; она почти ослепла. Ветеринар беспрестанно надоедал мне, чтобы я согласился усыпить животное. Ветеринару всего тридцать один. Я представлял себе, что он и меня видит кандидатом на усыпление. Я поднял ноги, устроив их на стуле, стоявшем передо мной. Попытался успокоиться. Из-за подобных вспышек я три года назад потерял работу. А теперь я думал: «Кто знает, что я потерял сейчас?»

– А с третьей стороны, – продолжил он, и только когда я понял, каким долгим было молчание, в котором пребывали мы оба, погрузившись каждый в свои мысли, – показывая стендап, ты все-таки смешишь людей, и это тоже вещь немалая.

Последние слова он произнес спокойно, словно обращаясь к самому себе, и я подумал: «Верно, это вещь немалая. Это великая вещь! Вот я, к примеру, с трудом помню звук собственного смеха». И я чуть было не попросил, чтобы он остановился и начал разговор с самого начала. И на сей раз – как между двумя человеческими созданиями, чтобы я, по крайней мере, постарался объяснить, как же я мог забыть его, как ненависть к запоминанию чего-то из ряда вон выходящего, причиняющего боль того, что случилось в прошлом, уже стерла огромные куски самого прошлого и постепенно стирает остальное.

– Чего я от тебя хочу? – глубоко вздохнул он. – Ладно, по правде говоря, я уже не уверен, что это вообще актуально…

– Как я понял, ты хочешь, чтобы я пришел на твое представление.

– Да.

– Но зачем? Зачем я тебе там нужен?

– Видишь ли, тут ты меня достал… Даже не знаю, как тебе сказать… Это звучит странно – просить об этом у кого-то. – И он усмехнулся. – Та?хлес[38 - Та?хлес – 1) практическая сторона дела, немедленная польза; 2) выражение нетерпения по поводу долгих и подробных объяснений (сленг, идиш). Благодаря многозначности широко употребляется в разговорной речи.]. Я думал об этом довольно много, вот уже какое-то время я перемалываю это в себе, но не знаю, не уверен, однако, в конце концов, подумал, что только тебя я могу попросить.

Вдруг в его голосе появилось что-то новое. Почти мольба. Отчаяние последней просьбы. Я снял ноги со стула.

– Я слушаю, – произнес я.

– Я хочу, чтобы ты сначала посмотрел на меня хорошенько, а потом сказал мне.

– Сказал тебе – что?

– Что ты увидел.

– Короче, Нетания-детка, нынешним вечером здесь, перемать, мы трахнем мать всех представлений! Ваш покорнейший слуга перед сотнями поклонниц, рвущих бюстгальтеры! Да, освободи застежку, десятый стол, освободи… Оп-па! Мы услышали «бум!», а?

Публика смеется, но смех короткий и тусклый. Молодые смеются чуть дольше, но человек на сцене весьма доволен. Рука его витает над лицом, словно ищет место, где будет больнее всего.

Люди зачарованно глядят на эту руку, пальцы которой разжимаются и сжимаются медленными волнообразными движениями. «Это не имеет смысла, – думаю я про себя, – это не на самом деле, человек не может бить себя так».

– Идиотик, – произносит он хрипло, и кажется, будто рука шепчет, будто пальцы шепчут, – идиотик, они снова не смеялись как следует! Как же ты собираешься закончить этот вечер?

Сквозь пальцы охватившей лицо ладони сверкает адресованная публике улыбка, словно из-за решетки.

– Это не те взрывы смеха, которые бывали у тебя когда-то, – говорит он с задумчивой грустью, болтая с самим собой у нас на глазах, – быть может, ты избрал не ту профессию, Довале, а возможно, и вправду пришло время уйти со сцены.

Он продолжает беседовать сам с собой с деловым спокойствием, от которого кровь стынет в жилах.

– Уйти со сцены, да, повесить сапоги – да и себя самого – на тот же гвоздь. Но как ты думаешь, может, попробуем на них попугая? Последний шанс?

Он убирает ладонь с лица, но оставляет ее по-прежнему витать в воздухе:

– Один попугай беспрерывно сквернословил. С той минуты, как он открывал глаза, и до отхода ко сну попугай безостановочно извергал самые грубые и грязные ругательства, какие только бывают. А хозяин попугая был человеком тонким, воспитанным, вежливым…

Публика, словно на разделенном экране, следит и за анекдотом, и за рассказчиком, увлеченная обоими.

– В конце концов не осталось никакого выбора, и хозяин начал угрожать попугаю: «Если ты не прекратишь, я запру тебя в шкафу!» Попугай от угроз просто с ума сошел, начал ругаться и проклинать на идише…

Он останавливается, громко смеется над собой, легонько хлопает себя по бедру:

– Нет, Нетания, вам очень понравится, быть не может, чтобы вы это не полюбите.

Публика глядит на него с изумлением. Глаза некоторых зрителей сами собой щурятся, ожидая резкого движения руки по направлению к лицу.

– Короче, мужик хватает попугая, швыряет в шкаф и запирает дверь. Попугай изнутри шкафа исторгает такой поток изощренной брани, что парню хоть с крыши прыгай из-за стыда перед соседями. Наконец, не в силах больше выдерживать, он открывает шкаф, хватает попугая обеими руками – а попугай при этом орет во все горло, проклинает, кусает, поносит и даже клевещет, – приносит птицу в кухню, открывает дверцу морозилки, бросает попугая внутрь и закрывает его там.

Молчание в зале. То тут, то там – осторожные улыбки. Мне кажется, что большинство публики сосредоточило взоры на его руках, медленно описывающих круги, словно змея, неторопливо разматывающая свои кольца.

– Хозяин прикладывает ухо к дверце морозильника, слышит, как изнутри доносятся брань, проклятия, царапанье когтей по дверце, хлопанье крыльев… Спустя некоторое время все стихает. Минута, еще минута – ничего. Гробовое молчание. Птичка не чирикает. Мужик начинает беспокоиться, совесть заедает, а вдруг птичка замерзла там, гипотермия, а?на а?реф?[39 - А

на а?реф – «понятия не имею» (сленг, арабск.).] Он открывает дверцу морозильника, готов к самому худшему, но тут попугайчик выпрыгивает из морозилки, лапки его дрожат, он взбирается на плечо хозяина и говорит ему: «Мой господин, нет у меня слов, чтобы выразить свои извинения. Отныне и навсегда мой господин не услышит от меня ни единого бранного слова». Мужик смотрит на попугая и не верит собственным ушам. И тут попугай спрашивает: «А кстати, господин, что такого натворила курица?»

Публика смеется. Один огромный, долго сдерживаемый выдох взрывается смехом. Возможно, публика смеется потому, что жаждет спасти человека на сцене от собственных рук. Какой же своеобразный договор сложился здесь и как я в нем участвую? Бледнолицая молодая пара, слегка подавшись вперед, склоняется над столиком неподалеку. Их губы напряженно, чуть ли не с вожделением, вытягиваются. Может быть, они ждут, что человек на сцене снова будет бить себя? А он вслушивается в смех, доносящийся из зала, склонив голову с изборожденным морщинами лбом.

– Ну, шойн[40 - Ну, шо?йн – ладно, хорошо, пусть так (сленг, идиш, заимствование из нем.).], – вздыхает он, оценив силу и продолжительность смеха, – большего нам из них не вытянуть. Трудная здесь у тебя публика, Довеню, с тонким вкусом. Очень может быть, что некоторые из них даже леваки, что требует более напористого подхода, с восприимчивостью к лицемерию.

Он подбадривает себя возгласом:

– Где же мы были? Мы отмечаем день рождения, в этот день теми, у кого есть душа, совершается самоанализ души, но, по правде, в своем нынешнем состоянии я не обладаю достаточными средствами, чтобы содержать душу. Серьезно, душе требуется бесперебойное обслуживание, так? Вы должны изо дня в день заниматься этим день-деньской! Нет, вы сами скажите: я не прав?

Бокалы с пивом взлетают вверх, подтверждая истинность его слов. Мне кажется, что только я один до сих пор нахожусь под впечатлением от руки, витавшей над его лицом; только я и, возможно, еще одна очень маленькая женщина, сидящая недалеко от меня и изумленно глядящая на него с первой же минуты его появления на сцене, словно ей тяжело поверить, что на свете существует подобное создание. Он снова кричит:

– Я не прав?!

Но теперь публика отвечает ему согласным рычанием и ревом.

– Я не п-прав? Я не пра-а-в? – громовым голосом орет он во всю мощь.

Зал вопит, что он прав, прав! У некоторых зрителей глаза стекленеют от усилий, и мне кажется, что чем громче становится шум, тем больше он доволен, наслаждаясь, вплетая свой голос в их вопли, возбуждая в них некую железу вульгарности, даже порочности, – и вдруг мне самым простым образом становится очевидным, что я не хочу и не должен здесь быть.

– Потому что гребаная душа, черт бы ее побрал, переворачивается над нами каждую секунду, обратили на это внимание? Обратили на это внимание, Нетания?

Они отвечают на это ревом, что да, они заметили, а он:

– То она хочет так, то не хочет. Тут она взрывает тебя эйфорией с фейерверком, а через полминуты после этого выдает тебе дубинкой по голове, а тут она одержима сексуальным вожделением, но тут она в кризе, и капризе, и в тиз-тизе![41 - Тиз – задница, седалище (арабск.). В некоторых арабских диалектах так называют женский половой орган.] Кто может преодолеть ее, скажите мне, да и кто вообще в ней нуждается?

Он распаляется вовсю, а я гляжу вокруг, и вновь мне кажется, что кроме меня самого и той женщины, необычайно крошечной, чуть ли не карлицы, все, несомненно, вполне довольны. Что же, ко всем чертям, я здесь делаю и какие обязательства имеются у меня по отношению к кому-то, кто сорок с чем-то лет назад вместе со мной брал частные уроки? Я отвожу ему еще пять минут, ровно пять минут по часам, а после этого, если не произойдет – как бы это сказать – поворота в сюжете, встаю и ухожу.

Почему-то по телефону в его предложении было что-то притягательное, да и здесь, не могу отрицать, временами на сцене случаются такие моменты – удары, которые он нанес самому себе, – именно в них есть нечто, не знаю, открывается какая-то манящая бездна. Да и он явно не дурак, этот парень. Никогда им не был, уверен, что нынешним вечером я упускаю случай понять о нем что-то,

уловить некий сигнал, который мне трудно определить; кто-то внутри его взывает ко мне, однако что поделаешь, если пределы этого жанра так сильно ограничены?

Нет, нет, думаю я, настроившись на быстрый уход, он не может предъявить мне никаких претензий. Я сделал усилие, приехал из Иерусалима, больше получаса его слушал, не нашел в нем ни милости, ни молодости, и теперь все обрываю.

Он произносит еще одну страстную речь против «пришибленной идеи бессмертия гребаной души», ни больше ни меньше. Оказывается, если бы ему предоставили выбор, то именно он обеими руками ухватился бы за возможность бессмертия тела.

– Подумайте о теле нетто! – орет он. – Без всяких мыслей, без воспоминаний – просто тело-олух, которое прыгает себе на лугу, словно зомби, и ест, и пьет, и бездумно трахается.

И тут он в качестве демонстрации начинает перемещаться по сцене вприпрыжку, весело двигая тазом и расточая пустые улыбки. Я подаю знак официантке: пусть принесет счет. Не хочу быть ему должным. И без того этот мир – подушечка для булавок. Ошибка, прийти сюда была моя ошибка. Он замечает движение моей руки – знак, поданный официантке, и лицо его резко меняется, просто рушится.

– Нет, серьезно! – восклицает он и тараторит еще быстрее: – Вы понимаете, что значит в эти дни содержать душу? А

шкара[42 - А

шкара – совершенно ясно, очевидно (сленг, арабск.).], предмет роскоши! Посчитайте и убедитесь, что это вам обойдется дороже, чем магниевые колеса! Самая что ни на есть простая душа, не говорите о Шекспире, или о Чехове, или о Кафке – кстати, совсем не плохой материал, такую информацию мне по крайней мере слили, я лично не читал, – я… примите мою волнующую исповедь, у меня тяжелая дислексия, в предсмертной форме, клянусь вам, у меня это обнаружили, когда я еще был плодом в чреве матери, и врач, поставивший мне диагноз, предложил родителям подумать об аборте…

Публика смеется. Я – нет. Смутно вспоминаю, что иногда он упоминал книги со знакомыми мне названиями, и я знал, что спустя два года мне предстоит сдавать экзамены на аттестат зрелости по этим книжкам, но он говорил о них так, будто и вправду читал. «Преступление и наказание» и, если я не ошибаюсь, «Процесс» или «Замок». Теперь, на сцене, он продолжает с невероятной скоростью сыпать именами авторов и названиями книг, уверяя собравшихся, что он в жизни их не читал. А у меня начинается какой-то зуд в верхней части спины, и я раздумываю: то ли он сейчас просто пытается подольститься к публике, продавая «простоту» и «народность», то ли что-то замышляет и в конце концов доберется и до меня. Я тороплю официантку, бросая на нее нетерпеливые взгляды.

– Ибо кто я такой в конце концов? – во весь голос восклицает он. – Я человек низкого пошиба, правда?

Тут он всем телом поворачивается ко мне и выстреливает в меня горькой улыбкой:

– Да и что такое стендап, вы об этом когда-нибудь думали? Услышьте это от меня, Нетания: это всего лишь развлечение, довольно пафосное, давайте будем честными. И вы знаете почему? Потому что вы можете понюхать наш пот! Наши усилия рассмешить! Вот почему!

Он обнюхивает свои подмышки, лицо его искажает гримаса, и публика, сбитая с толку, робко посмеивается. Я выпрямляюсь в кресле, скрещиваю руки на груди: мне кажется, что это объявление войны.

– Вы замечаете на нашем лице стресс, – он еще больше повышает голос, – стресс от усилий рассмешить любой ценой, видите, как мы просто умоляем, чтобы вы нас полюбили. (И это тоже, представляю себе избранные перлы из нашего телефонного разговора.) Но именно поэтому, дамы и господа, я с огромным волнением и со смирением принимаю здесь, среди нас, высшую инстанцию правосудия, судью Верховного суда Авишая Лазара, прибывшего совершенно неожиданно, но лишь для того, чтобы публично поддержать наше искусство, жалкое и ничтожное. Суд идет!

Вероломный фигляр вытягивается в струнку, щелкает каблуками, а затем кланяется мне низко-низко, до самой земли. Один за другим люди смотрят на меня, некоторые автоматически послушно аплодируют, и я при этом тупо

бормочу: «Окружной, а не Верховный, да и вообще в отставке». А он, на сцене, смеется раскатистым теплым смехом, вынуждая меня делать вид, будто я улыбаюсь вместе с ним.

В глубине души я все время знал, что он не даст мне просто уйти. Что все это, это приглашение, ему сопутствовавшее нелепое предложение – просто западня, его личная месть, ловушка, в которую я попал как последний болван. С той минуты, как он объявил со сцены, что сегодня у него день рождения – деталь, которую он вообще не упоминал в нашем разговоре, – я испытывал удушье. А тут еще, выбрав самое неподходящее время, официантка приносит мне счет. Вся публика на меня глазеет. Я пытаюсь понять, как реагировать, но для меня все происходит чуть-чуть слишком быстро, и вообще, с самого начала вечера чувствую, как медленно течет моя одинокая жизнь, каким медлительным она меня сделала. Складываю счет, кладу его под пепельницу и пристально смотрю ему прямо в глаза.

– Простая душа, я говорю с вами о ней, – он глотает легкую улыбку и знаком просит Иоава, директора зала, послать мне еще пива за его счет, – душа, как у простого солдата, без набора аксессуаров, гарнира и приложений, душа как она есть, просто душа человека, который только хочет хорошо питаться, приемлемо пить, забить косяк в кайф, кончить раз в день, потрахаться раз в неделю – и пусть его оставят в покое; но тут ему вдруг становится ясно, что это гребаная душа, черт бы ее побрал – сколько у нее требований! Целый профком!

Вновь он воздевает вверх руки перед публикой, загибая пальцы, начинает считать, и публика присоединяется к счету громкими выкриками:

– Сердечная боль – один! И угрызения совести – два! И нашествие ангелов злых[43 - Псалмы, 78:49 (в синодальной Библии, 77:49).] – три! И ночные кошмары, и бессонница из страха перед тем, что? вскорости будет и ка?к это будет – четыре!

Со всех сторон люди кивают в знак согласия и солидарности, а он смеется:

– Клянусь вам, последний раз в жизни я не знал никаких невзгод, когда мне еще не отрезали крайнюю плоть!

Публика покатывается со смеху. Я закидываю в рот горсть орешков и разгрызаю их, словно они – его кости. Он стоит в центре сцены, прямо в столпе света, закрыв глаза, кивает, словно именно в эту минуту в нем дозревает цельная философия жизни. То тут, то там раздаются хлопки в ладоши, сопровождаемые криками «Вау!», внезапными и грубыми, особенно в устах женщин. «Этот человек, – думаю я, – вовсе не красивый и не возбуждающий или привлекательный, зато как же он умеет затронуть в людях то, что превращает их в толпу, в сброд!»

А он, будто подслушав мои мысли, резким взмахом руки обрывает выкрики публики; лицо его омрачено, и теперь я чувствую в нем нечто противоположное тому, что о нем подумал: сам тот факт, что с ним соглашаются, что кто-то – кем бы он ни был – согласен с ним в чем-то, по-видимому, возбуждает в нем и неприязнь, и даже отвращение: эта гримаса на губах, брезгливо сморщенные ноздри – будто все здесь присутствующие толпятся, чтобы прикоснуться к нему, его ощупать.

– А теперь, дамы и господа, самое время поблагодарить того, кто привел меня ко дню сегодняшнему; кто готов был оставаться со мной всегда и без всяких условий даже после того, как оптом бросили и меня покинули женщины и дети, коллеги по работе и друзья, – он бросает на меня взгляд, словно укол иголки, и сразу же взрывается от смеха. – Даже директор моей школы, к примеру, господин Пинхас Бар-Адон, и давайте все объединимся в молитве за упокой его души, он еще жив, кстати, даже он вышвырнул меня в пятнадцать лет из школы, отправив прямо в Колледж Уличных Наук, а еще написал в характеристике – слушайте внимательно, Нетания: «Закоренелого циника, подобного этому мальчику, я не встречал за всю свою карьеру». Мощно, а? Круто! И после всего этого единственный, кто не оставил меня, не покинул и не бросил на произвол судьбы, был только я, да. – Он снова покачивает тазом, соблазняюще оглаживая себя ладонями. – А теперь, братья мои, поглядите хорошенько и скажите, что вы видите. Нет, серьезно, что вы видите? Пыль человеческую, верно? Почти ноль материала, и, снимаю шляпу перед точными науками, я бы даже сказал «антиматериала». И вам уже совершенно ясно, что речь идет о человеке перед списанием его в утиль, а?

Он посмеивается, подмигивает мне, кажется, немного льстиво, просит, чтобы при всем моем гневе на него я сдержал слово и выполнил данное обещание.

– Вы только поглядите, Нетания, что такое верность и даже преданность на протяжении пятидесяти семи лет, довольно паршивых? Поглядите, что такое неотступность и упорство в провальном проекте «быть Довале»! Или даже просто быть.

И мечется по сцене, угловатыми движениями походя на механическую игрушку, и режущим слух голосом крякает:

– Быть! Быть! Быть!

Останавливается и, медленно поворачиваясь, обращает к залу сверкающее лицо обманщика, вора или карманника, чей злой умысел вполне удался:

– А уловили ли вы вообще, какая это ошеломительная идея – быть! Как это разрушительно?

И он немного надувает щеки, издавая легкое «пуф», словно лопается пузырь.

– Довале Джи, дамы и господа, называемый Дубчек, он же Дов Гринштейн, главным образом в делах, возбужденных государством против Дова Гринштейна по поводу преступлений в отрасли питания, то есть неуплаты алиментов. О боже, – он глядит на меня со страдальческой наивностью и заламывает пальцы, – сколько же эти дети едят, ваша честь! Интересно, сколько алиментов платит отец в Дарфуре? Мистер Джи, уважаемые дамы! Единственный в этом чертовом мире, который жаждет провести со мной целую ночь не за деньги, и это в моих глазах – самый честный, объективный показатель дружбы. Именно так, публикум! Такая уж получилась эта жизнь. Человек предполагает, а Бог его сношает.

Два раза в неделю, в воскресенье и среду, к половине четвертого мы заканчивали урок у частного учителя, унылого религиозного человека, который никогда не смотрел нам в глаза и говорил гнусаво и неразборчиво. Обалдевшие от духоты в доме и ошалевшие от запахов блюд, готовившихся его женой в кухне, мы выходили со всей группой, но сразу же отделялись от других соучеников. Мы шли по мостовой тихой главной улицы квартала, где лишь изредка появлялся автомобиль, и, дойдя до остановки автобуса номер двенадцать, возле углового магазина «Лернер», смотрели друг на друга и в один

голос говорили: «Идем до следующей?» Так проходили мы еще пять или шесть остановок, пока не добирались до Центральной автобусной станции, неподалеку от квартала Ромема, где он жил, и там ждали автобус, отвозивший меня в Талпиот. Сидели рядом с остановкой на рушащемся каменном заборчике, заросшем сорняками, и разговаривали. То есть сидел я; он не мог посидеть или постоять на одном месте более одной-двух минут.

Почти всегда он расспрашивал, а я рассказывал, так разделились между нами роли. Он это установил, а я соблазнился подобным порядком. Я вовсе не был говоруном, совсем наоборот, я был юношей неразговорчивым и замкнутым, с каким-то слегка нелепым, как я себе это представлял, ореолом суровости и мрачности, от которого если бы и захотел избавиться, то не знал как.

Возможно, по собственной вине, а возможно, из-за того, что наша семья странствовала по свету и жила в той стране, где отец развивал свой бизнес, у меня никогда не было закадычного друга. У меня появлялись приятели, возникали короткие дружеские связи в школах для детей дипломатов и бизнесменов из других стран. Но с тех пор, как мы вернулись в Израиль, в Иерусалим, в квартал Талпиот, в школу, я нигде ни с кем не познакомился, и никто из окружающих не приложил усилий, чтобы узнать меня поближе, – и я стал еще более одиноким и колючим.

Но тут внезапно появился маленький смешливый мальчик, который учился в другой школе и не знал, что ему следует опасаться моих колючек, а моя скрытая мрачность не производила на него ни малейшего впечатления.

– Как зовут твою маму? – Это было первое, что он у меня спросил, когда мы вышли на улицу после урока; помню даже, что у меня вырвался какой-то жуткий изумленный смешок: наглость этого веснушчатого карлика намекала, что даже у меня есть мама!

– Мою маму, – воскликнул он, – зовут Сара! – И вдруг он обогнал меня и развернулся, обратив ко мне лицо: – Как, говоришь, зовут твою маму? Она родилась в Израиле? Где встретились твои родители? Они тоже уцелели в Холокосте?

Автобусы в квартал Талпиот приезжали и уезжали, а мы разговаривали. Вот как мы выглядели: я сижу на заборе, долговязый, тощий (да-да) подросток с узким

жестким лицом и поджатыми губами, который боится улыбнуться, а вокруг носится маленький мальчик, младше меня по крайней мере на год, с черными волосами и очень светлой кожей, упорством, хитростью и лукавством сумевший вытащить меня из моей раковины, постепенно пробудивший во мне желание вспоминать, говорить, рассказывать о Гедере и Париже, о Нью-Йорке и карнавале в Рио, о Дне мертвых в Мексике и Празднике солнца в Перу, о полетах на воздушном шаре над стадами гну в Серенгети.

Из его расспросов я начал понимать, что у меня в руках – редкое сокровище: жизненный опыт. Что моя жизнь, которую я до сих пор воспринимал как тягостную, удручающую карусель поездок, частой смены квартир, школ, языков и обличий, – это, по сути, большое приключение. Очень скоро я открыл, что даже преувеличения принимаются им с благосклонностью: ни одна булавка не вонзилась в мои воздушные шары, напротив, выяснилось, что можно и даже желательно рассказывать каждую историю снова и снова, всякий раз уснащая ее все новыми подробностями и извивами сюжета – и теми, что происходили в реальности, и теми, что могли произойти. Рядом с ним я сам себя не узнавал. Не узнавал того восторженного, оживленного мальчика, который выскочил из меня. Прежде мне было неведомо это чувство жжения в висках, вдруг запылавших от мыслей и образов. Но главным образом я никогда прежде не испытывал наслаждения от немедленного вознаграждения за мой новый талант: его глаза расширялись передо мной от изумления, от смешливого счастья. Глубокое голубое сияние. Своего рода гонорар, предполагаю.

Целый год мы так встречались, дважды в неделю. Я ненавидел математику, но ради него старался не пропустить ни одного урока. Автобусы прибывали и отъезжали, а мы погружались в собственный мир, пока и в самом деле не вынуждены были расстаться. Я знал, что ровно в половине шестого он должен был куда-то зайти за своей мамой. Он рассказал, что его мама «большая начальница» в правительственном учреждении, но я так и не понял, почему он должен «за ней зайти». Я помню, он носил взрослые часы «Докса», целиком покрывавшие тонкую косточку его руки у запястья, и чем меньше времени оставалось до встречи с мамой, тем чаще он нервно поглядывал на циферблат.

При расставании в воздухе всегда витали возможности, но ни один из нас не осмеливался озвучить их вслух, будто мы все еще не доверяли реальности, не понимали, как вести себя в этой деликатной, хрупкой истории, в которой мы оказались: не встретиться ли нам просто так, без всякой связи с уроком? Или сходить в кино? Может, я приду к тебе домой?

– И если уж мы говорим о Великом Трахальщике, – воздевает он руки, – то позвольте мне, господа, уже в начале вечера во имя исторической справедливости от вашего имени и от всего сердца поблагодарить Женщину. Всех женщин во всем мире! Почему бы нам не быть щедрыми, братья мои, почему бы нам хоть один раз не признаться, где обитает наша розовая птица счастья, суть нашего существования, управляющая нашей поисковой системой? Почему бы нам низко не поклониться и не воздать должное той приправе жизни, острой и сладкой, что получили мы в саду Эдемском?

И он действительно кланяется, вновь и вновь опуская голову и отвешивая поясные поклоны той или иной женщине из публики, и, как мне кажется, каждая из них, даже те, рядом с которыми сидят их спутники, почти непроизвольно отвечают ему коротко мелькнувшим в глазах блеском. Он воздевает ладони, побуждая последовать своему примеру мужчин в зале; многие ухмыляются и не двигаются с места, а некоторые сидят недвижимые, рядом со своими застывшими женщинами, однако четверо или пятеро принимают вызов, поднимаются со стульев, смущенные, и, посмеиваясь, напористо кланяются своим партнершам.

По-моему, это просто нелепый поступок, дешевая сентиментальность, но тем не менее, к собственному полнейшему изумлению, неожиданно обнаруживаю, что сам кланяюсь пустому стулу рядом со мной быстрым поклоном, едва шевельнув головой, что вновь доказывает мне, насколько я нынешним вечером слаб и не уверен в себе. По правде говоря, это был всего лишь слабый кивок и легкое подмигивание, всегда случавшееся у меня и у нее даже в самый разгар ссоры, две искры, летящие из глаза в глаз: искра-я в ней, искра-она во мне.

Заказываю рюмку текилы и снимаю свитер. Я даже представить себе не мог, как здесь будет жарко (мне кажется, что женщина за соседним столиком шепотом сказала своему спутнику: «Наконец-то!»). Скрестив руки на груди, я вглядываюсь в человека на сцене, и в его тусклых глазах вижу и себя, и его и вспоминаю это чувство – мы вдвоем.

Вспоминается пламя возбуждения и постоянное смущение, которое я испытывал, когда был с ним: в те времена парни не разговаривали между собой так. Не о таких вещах и не такими словами. Во всех моих скоротечных дружбах с другими мальчиками была какая-то взаимная анонимность, комфортная, мужская, но с ним…

Роюсь в карманах. В брюках, в рубашке. В кошельке. Еще несколько лет назад я никогда не выходил из дома без записной книжки. Маленькие оранжевые книжечки спали с нами в постели – на случай, если в предсонье или уже во сне в мыслях внезапно промелькнет некий веский аргумент, который я могу вставить в приговор, или даже убедительная аналогия, а то и идея цитаты, которая сразу же всем откроет глаза. (В этом я, неким образом, приобрел печальную известность.) Ручка у меня есть, даже три, но нет ни клочка бумаги. Подаю знак официантке, и та приносит мне целую кипу бумажных салфеток – зеленые салфетки, которые она уже издали поднимает высоко над собой, улыбаясь глупой улыбкой.

Вообще-то улыбка довольно милая.

– Но самое-самое, братья и сестры мои, – ревет он, едва ли не проливая слезы радости от вида моих салфеток и ручек, – после того как мы, в общем, выразили благодарность всем женщинам в мире, я особо хочу поблагодарить тех милочек, которые приватизировали лично для меня глобальный проект секса, всех, кто с шестнадцатилетнего возраста опускал мне и поднимал мне, дрочил мне, кувыркал меня, накачивал мне, отсасывал мне…

Большинство публики довольно, но есть и такие, что кривят физиономии. Неподалеку от меня женщина высвобождает из узкой туфли левую ногу и потирает ее об икру правой ноги, а у меня спазм в животе, уже третий или четвертый раз за вечер – сильные, крепкие ноги Тамары, – и я слышу собственный стон из тех, о которых я уже давно забыл.

И вдруг на сцене, прямо передо мной – его улыбка прежних дней, пленительная, воодушевляющая, и уже получается дышать, и будто понемногу рассеивается смятение, сопровождающее представление с самого начала, и я поддаюсь соблазну, улыбаюсь ему. Это чудесный личный момент, только наш с ним, я вспоминаю, как он прыгал вокруг меня с ликованием, с возгласами и смехом, словно его щекотал воздух. Сейчас в его глазах тот же свет, лучик направлен на меня, верит мне, и будто все еще поправимо – даже для нас, для меня и для него.

Однако и на сей раз улыбка мгновенно исчезает, словно кто-то быстренько выдернул ее из-под наших ног, но в этот раз мне кажется, что в основном из-под моих ног. И опять я испытываю глубокое мрачное чувство: это обман зрения,

надувательство, творящееся там, куда не доходят слова.

– Не могу поверить! – неожиданно вопит он. – Ты, малышка, с губной помадой, да, ты! Наверное, марафетишься в темноте? Или твой спец по марафету уже подхватил «паркинсона»? Скажи мне, куколка, думаешь, это нормально: пока я здесь рву задницу, чтобы тебя рассмешить, ты себе эсэмэсишь?

Он обращается к крошечной даме, одиноко сидящей за столиком недалеко от меня. Ее волосы – странная, сложной конструкции башня, этакий плетеный конус с воткнутой в него красной розой.

– Это красиво?! Человек обливается потом, открывает тебе душу, обнажает внутренности, раздевается – да что там раздевается?! Обнажается до самой своей простаты! А ты посылаешь эсэмэски? Можно ли узнать, что ты там отэсэмэсила, какая была в этом срочность?

Она отвечает абсолютно серьезно и чуть ли не с упреком:

– Это не эсэмэс!

– Некрасиво обманывать, милая, я сам видел! Тик-тик-тик! Пальчики маленькие, быстрые! Между прочим, ты сидишь или стоишь?

– Что? – Она втягивает голову в плечи. – Нет… Я писала самой себе.

– Самой себе? – Он широко раскрывает глаза и глубоким взглядом окидывает присутствующих, вступая с ними в заговор против нее.

– У меня есть такое приложение для заметок, – бормочет она.

– Это и впрямь жуть как всем нам интересно, милочка. Как ты думаешь, не выйти ли нам всем на минутку из зала и не мешать нежной связи, что сложилась у тебя с самой собой?

– Что? – Она в тревоге замотала головой. – Нет-нет! Не уходите.

У нее какой-то странный дефект речи. Голосок детский, тоненький, но слова из ее уст выходят толстые.

– Так скажи нам, наконец, что ты там самой себе написала?

Он весь лопается от радости и, не дав ей слова сказать, сам немедленно отвечает:

– «Дорогая я сама! Я очень боюсь, что нам придется расстаться, потому что этим вечером я встретила мужчину моей мечты, с которым свяжу свою судьбу или по крайней мере на неделю прикую к моей постели для экстремального секса…»

Женщина изумленно глазеет на него, даже рот чуть приоткрыла. Она обута в черные ортопедические ботинки на толстой подошве, и ее ноги не достают до пола. Большая блестящая красная сумка зажата между ее телом и столешницей. Сомневаюсь, что ему со сцены все это видно.

– Нет, – говорит она после неторопливого раздумья, – все это неправда, я вообще этого не писала.

– А что же ты все-таки написала? – он кричит и обхватывает голову руками в фальшивом отчаянии; беседа, которая, с его точки зрения, поначалу была многообещающей, постепенно становится неуклюжей, и он решает прервать контакт.

– Это личное, – шепчет она.

– Лич-но-е!

Слово сковывает его, как накинутый аркан, притягивает к ней за шею, отброшенную назад, хотя он уже отступил в глубь сцены. Он вразвалочку возвращается, оборачивая к нам свое потрясенное лицо, словно воздух сотрясло особо непристойное слово:

– А какой профессией, если мне позволено спросить, занимается наша госпожа, такая вся личная и интимная?

По залу проносится дуновение, этакий холодок.

– Я маникюрша.

– Да снизойдет на меня благодать!

Он закатывает глаза от удивления, протягивает вперед ладони с растопыренными пальцами, барабанит по собственной голове, справа и слева:

– Французский маникюр, пожалуйста! Нет, погодите: с блестками…

Он легонько дует на ногти, один за другим:

– Может, узор из кристаллов? Как ты по части минералов, миленькая? Засушенные цветы? Сможешь?

– Но мне позволено работать только в клубе нашей деревни, – шепчет она. А потом добавляет: – Я еще и медиум.

Испуганная собственной смелостью, она еще выше поднимает свою красную сумку, ставя ее как преграду между ним и собой.

– Ме-ди-у-ум?

Лиса в его глазах остановила погоню, присела, облизнула губы.

– Дамы и господа, – провозглашает он торжественно, – прошу вашего внимания. В нынешнем вечере принимает эксклюзивное участие маникюрша, которая еще и ме-ди-ум! Где ваши ладони? Где ваши ногти?

Озадаченная публика подчиняется. Мне кажется, большинство людей в зале предпочли бы, чтобы он оставил ее в покое и избрал более подходящую жертву.

Он медленно пересекает сцену, склонив голову и заложив руки за спину. Весь его вид и поведение говорят о глубоких раздумьях и широте взглядов:

– Медиум… Ты имеешь в виду связь с другими мирами?

– Что? Нет… Я пока еще только с душами.

– Умерших?

Она склоняет голову. Даже в полумраке замечаю, как на ее шее пульсирует вена.

– А-а…

Он кивает с деланым пониманием. Я вижу, как он погружается в глубины самого себя, чтобы почерпнуть жемчужины насмешек и глумлений для встречи, уготованной ему судьбой.

– Так, может быть, госпожа медиум расскажет нам… Минутку, ты откуда, Дюймовочка?

– Вам нельзя называть меня так.

– Прошу прощения…

Он немедленно отступает, почувствовав, что пересек запретную черту.

«Не полное дерьмо все-таки», – пишу я на своей салфетке.

– Я теперь отсюда, рядом с Нетанией, – говорит она, и на ее лице все еще видна боль нанесенной обиды. – У нас здесь деревня… для людей, таких… таких, как я, но когда я была маленькой, я была вашей соседкой.

– Ты жила рядом с Букингемским дворцом? – потрясенно восклицает он, барабаня в воздухе, и выжимает из публики жидкие смешки.

Я видел, как он перед тем, как решить, что не будет шутить по поводу слов «когда я была маленькой», долю секунды колебался. Меня это забавляет: следить за неожиданными «красными линиями», границами, которые он себе

ставит. Маленькие островки сострадания и порядочности.

Но сейчас я слышу, как она говорит ему.

– Нет, – утверждает она с непоколебимой жесткостью, отчетливо чеканя слово за словом, – Букингемский дворец – это в Англии. Я знаю это, потому что…

– Что? Что ты сказала?

– Я разгадываю кроссворды. Я знаю все стра…

– Нет, до этого. Иоав?

Директор зала направляет луч света на нее. В ее тронутых сединой волосах, накрученных курганом с заостренной верхушкой, фиолетовая ленточка. Она гораздо старше, чем я думал, но лицо очень гладкое, оттенка слоновой кости. У нее тонкий вытянутый нос, припухшие веки, и тем не менее есть в ней смутная красота, окутанная пеленой, которая открывается под определенным углом.

Она каменеет под устремленными на нее взглядами. Взволнованно перешептывается пара молодых байкеров. Она что-то пробуждает в них. Мне знакомы подобные типы. Цветы зла. Именно подобные типы приводили меня в бешенство, когда я сидел в кресле судьи. Гляжу на нее их глазами: в праздничном платье, с цветком, воткнутым в волосы, с накрашенными губами, она выглядит девочкой, которая нарядилась дамой, вышла на улицу и уже знает, что с ней должно приключиться нечто ужасное.

– Ты была моей соседкой? – спрашивает он с сомнением.

– Да, в Ромеме. Я это заметила сразу же, как только вы вошли.

Она наклоняет голову и шепчет:

– Вы совсем не изменились.

– Совсем не изменился? – Он ухмыляется. – Я совсем не изменился?

Он прикладывает ладонь козырьком ко лбу и напряженно всматривается в нее. Публика следит, увлеченная процессом, происходящим прямо у нее на глазах: превращением жизненного материала в анекдот.

– И ты уверена, что это я?

– Конечно. – Она смеется, и лицо ее озаряется светом. – Вы тот самый мальчик, который ходил на руках.

В зале полная тишина. У меня пересыхает во рту. Только один раз я видел, как он ходит на руках. В тот самый день, когда видел его в последний раз…

– Всегда на руках. – Она смеется, прикрывает ладонью рот.

– Сегодня и на ногах я с трудом могу, – бормочет он.

– Вы обычно ходили на руках за женщиной в больших сапогах.

У него непроизвольно вырывается легкий вздох.

– Однажды, – добавляет она, – в парикмахерской вашего отца я видела вас на своих ногах и даже не узнала, что это вы.

Публика в зале снова начинает дышать. Люди переглядываются с соседями, им не совсем ясно, что они должны чувствовать. Он взволнованно и сердито смотрит на меня со сцены. «Этого точно не было в программе, – передает он мне на нашей личной частоте, понятной и мне, и ему, – и это абсолютно неприемлемо. Я хотел, чтобы ты видел меня нетто, без всяких добавок». Затем он приближается к самому краю сцены и опускается на одно колено. Все держа руку у лба, он смотрит на нее:

– И как, ты сказала, тебя зовут?

– Не имеет значения…

Когда она втягивает голову в плечи, становится заметным маленький горбик чуть ниже затылка.

– Это имеет значение, – говорит он.

– Азулай. Мои родители – светлой памяти Эзри и Эстер.

Она ищет на его лице хоть какой-нибудь знак того, что он ее узнает.

– Вы, конечно, не можете их помнить. Мы жили там совсем недолго. Мои братья ходили стричься к вашему отцу.

Когда она забывает следить за собой, дефект речи становится более заметным. Словно в горло воткнули что-то раскаленное.

– Я была маленькой, восьми с половиной лет, а у вас уже, наверное, была бар-мицва[44 - Бар-мицва (букв. «сын заповеди») – мальчик, достигший возраста 13 лет и одного дня, считается обязанным исполнять все предписания еврейского Закона, поскольку достиг совершеннолетия. Так же называется и праздник совершеннолетия.], и все время на руках, даже со мной разговаривали вот так, снизу.

– Только для того, чтобы взглянуть, что там у тебя под платьем, – говорит он, подмигивая публике.

Она сильно встряхивает головой, отчего башня из волос раскачивается:

– Нет, неправда! Вы три раза говорили со мной, и у меня было длинное голубое платье в клеточку, и я тоже говорила с вами, хотя это было запрещено.

– Запрещено? – Он коршуном с выпущенными когтями набросился на это слово. – Но почему? Почему это было запрещено?

– Не имеет значения.

– Конечно же имеет! – Его рык исходит из самого сердца. – Что же тебе сказали?

Она категорически качает головой.

– Только скажи, что тебе сказали.

– Что вы сумасшедший мальчик, – выпаливает она наконец. – Но я все-таки разговаривала с вами. Три раза разговаривала.

Она замолкает и глядит на свои пальцы. Лицо ее блестит от пота. У столика за ее спиной женщина, склонившись к мужу, что-то шепчет ему на ухо. Мужчина согласно кивает. Я в полном замешательстве. Голова идет кругом. Быстро пишу на салфетке, пытаюсь привести мысли в порядок: «Мальчик, которого знал я. Мальчик, которого знала она. Человек на сцене».

– Значит, ты говоришь, что мы разговаривали три раза? – Он сглатывает слюну, и, судя по выражению его лица, очень горькую слюну.

– Валла, чудесно…

Он усилием воли заставляет себя воспрянуть и подмигивает публике:

– И ты уж точно помнишь, о чем мы говорили?

– В первый раз вы сказали мне, что где-то мы уже встречались.

– Где?

– Вы сказали, что все происходящее в вашей жизни случается во второй раз.

– И ты так долго помнишь, что я сказал именно это?

– Еще вы сказали, что мы вместе были детьми Холокоста, или Библии, или во времена первобытного человека, вы не помнили, где именно, – но там мы встретились впервые, и вы были артистом в театре, а я была танцовщицей…

– Дамы и гос-по-да! – Он рывком вскакивает, криком перебивает ее, быстро удаляясь от края сцены. – Перед нами редчайшая характеристика вашего истинного друга тех времен, когда он был еще маленьким. Разве я вам не говорил? Не предупреждал? Деревенский дурачок, сумасшедший мальчик! Вы сами это слышали. Да еще пристает к маленьким девочкам, педофил, а вдобавок

ко всем несчастьям еще и живет в мире фантазий. Мы вместе были в Холокосте, в Библии… Скажите на милость!

И тут он, обнажая зубы, заливается звонким, переливчатым смехом, который никого не убеждает. Заодно он бросает на меня потрясенный взгляд, будто подозревает, что к неожиданному появлению этой маленькой женщины и я приложил руку. Киваю, словно приношу свои извинения. За что я должен извиняться? Я и в самом деле с ней не знаком. Ведь я никогда не был в его квартале Ромема, и всякий раз, когда я говорил, что готов проводить его до самого дома, он отказывался, увиливал, придумывал отговорки, сложные и запутанные истории.

– И поймите, так со мной всегда! – Он чуть ли не орет во все горло. – Даже животные в Ромеме надо мной потешались. На полном серьезе: был там один черный кот, которые плевался всякий раз, когда я проходил мимо него. Расскажи им, лапочка…

– Нет, нет…

Пока он обращается к публике, ее короткие ножки бьются под столиком, будто кто-то ее душит и ей не хватает воздуха.

– Вы были самым…

– И верно, мы играли в медсестру и врача, и я был медсестрой?

– Все это неправда!

Она кричит во весь голос, с трудом спускается со стула и стоит на полу. Трудно даже поверить, до чего же она маленькая.

– Зачем же вы так? Вы были хорошим мальчиком!

Зал замер в полной тишине.

– Что это?

Он фыркает, и одна его щека пылает, будто от неожиданной сильной пощечины, пожалуй, еще более сильной, чем те, которые до того он отвешивал себе сам.

– Как ты меня называла?

Она снова взбирается на стул, погружается в себя, мрачнеет.

– Ты знаешь, Тамболина, что я могу привлечь тебя к суду за нанесение ущерба моему злому имени?

Он обеими руками хлопает себя по бедрам, смеется. Умело извлекает раскаты смеха из недр живота, но почти вся публика отказывается хохотать вместе с ним.

Она склоняет голову. Мелкими точными движениями шевелит под столом пальчиками маленьких рук. Пальчики одной руки встречают пальчики другой, затем эти пальчики над теми, а потом те пересекаются с этими. Танец с секретом, по собственным правилам.

Глубокое молчание. Представление в секунду скомкано. Он, на сцене, снимает очки и с силой трет глаза, глубоко, с чувством вздыхает. Люди в зале отводят от него взгляды. Смутное состояние угнетенности растекается по всему залу, словно откуда-то распространяется слух о серьезном нарушении порядка.

Он, разумеется, улавливает, что вечер ускользает из его рук, и моментально осуществляет что-то вроде внутреннего слалома: почти слышно постукивание деталей механизма. Широко раскрывает огромные глаза и являет публике озаренное радостью лицо:

– Вы – потрясающая и единственная в своем роде публика! – выкрикивает он и вновь мечется по сцене, стуча своими дурацкими ковбойскими сапогами. – Братья и сестры мои, душа каждого из вас – уникальна…

Но конфуз, который пытается затушевать человек на сцене, растекается по пространству маленького зала, словно актер пустил ветры.

– Это не просто! – кричит он, простирая руки для широкого, пустого объятия. – Совсем не просто дожить до пятидесяти семи лет, да еще после того, как мы слышали, я уцелел в Холокосте и даже пережил ТАНАХ!

Женщина сжимается, ее голова ушла глубоко в плечи, а он еще больше возвышает голос, пытаясь оглушить ее молчание:

– Но самое замечательное, что отсюда, с высоты возраста, уже ясно видна табличка: «ТУТ ЖИВУТ В ПОЛНОМ КАЙФЕ ДОВАЛЕ И ЧЕРВИ»… Ахалан, други мои! – грохочет он. – Я так рад, что вы пришли. Какой безумный вечер здесь разворачивается! Вы прибыли со всех уголков нашей земли, я вижу ребят из Иерусалима, из Беер-Шевы, Рош ха-Аин тоже здесь…

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

1

Эрец-Исраэль (Земля Израиля, Страна Израиля) – принятое в еврейской традиции, литературе и в быту название Эрец-Исраэль приводится впервые в Библии, в книге Первая Самуила,13:19 (в русской традиции – Первая Царств), в повествовании о войнах царя Саула (примерно 1030 г. до н. э.). – Здесь и далее примечания переводчика.

2

Переводчик считает своим долгом выразить сердечную благодарность Анатолию Головахе, иерусалимскому математику-программисту, поэту и переводчику, который внимательно прочитал рукопись перевода перед отправкой в

издательствои сделал ряд ценных замечаний и уточнений.

3

Мабрук – благословение по поводу радостного события или позитивного процесса (арабск.).

4

А

шкара – прямо-таки (сленг, арабск.).

5

Курортный город Нетанию нередко и не без оснований называют криминальной столицей Израиля.

6

Я

мба – много, в изобилии, в огромном количестве (сленг, «ям» – «море», ивр.).

7

Ра?бак – ко всем чертям! (сленг, арабск.)

8

Ахбалот – мн. число от слова «а?хбаль» – «глупец» (арабск.).

9

Фарш – «неполноценный», «испорченный», «низкого качества» (сленг, из языков уроженцев Марокко: «мусор», «отходы»).

10

Хамса – украшение в виде ладони с пятью пальцами, амулет для защиты от сглаза, «на счастье». Обычай евреев – уроженцев Северной Африки. «Хамса» – «пять», арабск. Ныне широко распространена в Израиле.

11

Ялла – «ну же!», «давай!», возглас понукания, очень распространен в Израиле. Из арабск.: «Хой, Алла» – «О Боже».

12

Валла – возглас восторга, изумления и проч. (сленг, из арабск. клятвы – «Богом клянусь!»).

13

Автор, конечно же, употребил не «шестерка», а сленговый глагол в прошедшем времени: «синдже?р» – «предназначил удел прислуги, посыльного и т. п.». В израильском сленге такой человек называется «санджа?р» – по-видимому, от английского «мессенджер» (messenger) – «посыльный, «курьер», «связной» и т. п.

14

Сабаба – нечто доставляющее удовольствие, очень успешное; слово, выражающее согласие, подтверждение. Иногда имеет форму прилагательного «саба?би», «саба?би-ба?би». Широко употребляется и варьируется, к примеру, «сабаби?ш» – от арабск. «цаба?ба» – «прекрасно», отлично».

15

В оригинале – глагол в прошедшем времени «зие?н». Это широко употребляемое сленговое слово от древнего библейского глагола «лезайе?н» – «вооружать» (ивр.). Имеет сленговое значение «совокупляться», «обманывать», «надувать».

16

Бехайят – «честное слово, ну, ей-богу» (сленг, арабск.). Широко употребляется как выражение просьбы, мольбы, особенно в сочетании с другими словами, взятыми из арабского.

17

Жаботинский Зеев (Владимир Евгеньевич, 1880–1940) – писатель, публицист, один из лидеров сионистского движения, идеолог и основатель ревизионистского движения в сионизме. Орден имени Жаботинского основан сторонниками его идей в 1955 году. Песня в тексте – гимн движения ревизионистов.

18

Гаргамель – персонаж из мультсериала, фильмов и комиксов о Смурфах, существах, придуманных и нарисованных (1958) бельгийским художником Пейо (Пьером Кюлифором). Персонаж с таким именем встречается в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Гаргамель – злой, завистливый неудачник – напоминает классические антисемитские карикатуры.

19

Абуя – «отец», уважительное обращение к старшему (сленг).

20

Речь идет о евреях, уроженцах Румынии и Польши (ивр., разг.).

21

Хартабу?на – пустяковина, нечто незначительное, никудышное, ничего не стоящее (сленг, арабск.).

22

Аху?к – друг, товарищ (сленг, от арабск. аху?к – «твой брат»).

23

Са?хбак – здесь: человек представляет себя другим, говоря о себе в третьем лице. Широко употребляемое сленговое слово, имеет много вариаций, превращается и в глагол, и в прилагательное, и в иное существительное, и в местоимение «я». От арабск. «ца?хбак» – «твой друг», «товарищ», «дружище».

24

«Херут» («Свобода») – газета движения сионистов-ревизионистов Херут, идейным вождем которого был Зеев Жаботинский. В 1948 году была создана политическая партия Херут, 14 представителей которой были избраны в кнессет первого созыва (1949). Партия издавала газету «Херут» (1948–1966).

25

Я

ану – «так сказать» с ноткой сомнения (арабск.).

26

Синайская кампания – принятое в Израиле название Суэцкой войны (второй арабо-израильской войны) (29 октября – 5 ноября 1956 года). То же, что операция «Кадеш».

27

Операция «Караме» (март 1968 года) – атака Армии обороны Израиля на лагерь палестинских беженцев в деревне Караме (Иордания), где располагалась штаб-квартира ФАТХ.

28

Операция «Энтеббе» – успешная операция спецподразделений Армии обороны Израиля в аэропорту Энтеббе (Уганда) в июле 1976 года с целью освобождения самолета компании «Эр Франс», следовавшего из Тель-Авива в Париж и захваченного членами Народного фронта освобождения Палестины и западногерманских «Революционных ячеек». Угонщики требовали освобождения западногерманских политзаключенных из тюрем нескольких стран.

29

Среди названных имен есть и известные персонажи израильской криминальной хроники.

30

No hard feelings – без обид (англ.).

31

Slapstick – «фарс», «грубый фарс» и ряд других значений (англ.).

32

Тюрьма «Маасияху» – особая тюрьма в Израиле, где отбывают срок наказания те, кто когда-то занимал высокие должности в разных сферах государственной деятельности: в политике, в экономике, в общественной жизни.

33

Алаха?н – привет (при встрече; сленг, арабск.).

34

Я

ани – «так сказать» с оттенком некоторого сомнения (сленг, арабск.).

35

Дахи?лькум – слово, означающее просьбу в умоляющем тоне (сленг, арабск.).

36

Хадрама?ут (ивр. «Хацармавет», что значит «подворье смерти»; Бытие, 10:26–28) – историческая область на юге Аравийского полуострова. Ныне – название одной из провинций Йемена.

37

Сатхе?н – возглас одобрения: «почет и уважение!», «Молодец!» (сленг, арабск.). Часто употребляется в разговорной речи.

38

Та?хлес – 1) практическая сторона дела, немедленная польза; 2) выражение нетерпения по поводу долгих и подробных объяснений (сленг, идиш). Благодаря многозначности широко употребляется в разговорной речи.

39

А

на а?реф – «понятия не имею» (сленг, арабск.).

40

Ну, шо?йн – ладно, хорошо, пусть так (сленг, идиш, заимствование из нем.).

41

Тиз – задница, седалище (арабск.). В некоторых арабских диалектах так называют женский половой орган.

42

А

шкара – совершенно ясно, очевидно (сленг, арабск.).

43

Псалмы, 78:49 (в синодальной Библии, 77:49).

44

Бар-мицва (букв. «сын заповеди») – мальчик, достигший возраста 13 лет и одного дня, считается обязанным исполнять все предписания еврейского Закона, поскольку достиг совершеннолетия. Так же называется и праздник совершеннолетия.

Купить: https://tellnovel.me/ru/grossman_david/kak-to-loshad-vhodit-v-bar

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить